

МИХАИЛ ЗАГОСКИН

РОСЛАВЛЕВ,
ИЛИ РУССКИЕ
В 1812 ГОДУ

Михаил Загоскин

Рославлев, или Русские в 1812 году

«Public Domain»

Загоскин М. Н.

Рославлев, или Русские в 1812 году / М. Н. Загоскин — «Public Domain»,

«Печатаю мой второй исторический роман, <...> полагаю необходимым просить моих читателей о нижеследующем: 1. Не досадовать на меня, что я в этом современном романе не упоминаю о всех достопамятных случаях, ознаменовавших незабвенный для русских 1812 год. 2. Не забывать, что исторический роман – не история, а выдумка, основанная на истинном происшествии. 3. Не требовать от меня отчета, почему я описываю именно то, а не то происшествие; или для чего, упоминая об одном историческом лице, я не говорю ни слова о другом. <...> Интрига моего романа основана на истинном происшествии – теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе.» М. Загоскин

Содержание

М. Н. Загоскин	5
Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	9
Глава III	16
Глава IV	22
Глава V	29
Глава VI	37
Глава VII	42
Часть вторая	49
Глава I	49
Конец ознакомительного фрагмента.	53

М. Н. Загоскин

Рославлев, или Русские в 1812 году

Печатаю мой второй исторический роман, я считаю долгом принести чувствительнейшую благодарность моим соотечественникам за лестный прием, сделанный ими «Юрию Милославскому». Предполагая сочинить эти два романа, я имел в виду описать русских в две достопамятные исторические эпохи, сходные меж собою, но разделенные двумя столетиями; я желал доказать, что хотя наружные формы и физиономия русской нации совершенно изменились, но не изменились вместе с ними: наша непоколебимая верность к престолу, привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне. Не знаю, достиг ли я этой цели, но, во всяком случае, полагаю необходимым просить моих читателей о нижеследующем:

1. Не досадовать на меня, что я в этом современном романе не упоминаю о всех достопамятных случаях, ознаменовавших незабвенный для русских 1812 год.

2. Не забывать, что исторический роман – не история, а выдумка, основанная на истинном происшествии.

3. Не требовать от меня отчета, почему я описываю именно то, а не то происшествие; или для чего, упоминая об одном историческом лице, я не говорю ни слова о другом. И наконец:

4. Предоставляя полное право читателям обвинять меня, если мои русские не походят на современных с нами русских 1812 года, я прошу, однако же, не гневаться на меня за то, что они не все добры, умны и любезны, или наоборот: не смеяться над моим *патриотизмом*, если между моих русских найдется много умных, любезных и даже истинно просвещенных людей.

Тем, которые в русском *молчаливом офицере* узнают историческое лицо тогдашнего времени – я признаюсь заранее в небольшом анахронизме: этот офицер действительно был, под именем флорентийского купца, в Данциге, но не в конце осады, а при начале оной.

Интрига моего романа основана на истинном происшествии – теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе.

Часть первая

Глава I

«Природа в полном цвете; зеленеющие поля обещают богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас пред сильною летнею грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает!.. Недаром, говорят простолюдины, недаром прошлого года так долго ходила в небесах *невиданная звезда*; недаром горели города, селы, леса и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все! Быть великой войне!»

Так говорит красноречивый сочинитель *«Писем русского офицера»*, приступая к описанию отечественной войны 1812 года. Привыкший считать себя *видимой* судьбою народов, представителем всех сил, всего могущества Европы, император французов должен был ненавидеть Россию. Казалось, она одна еще, не отделенная ни морем, ни безлюдными пустынями от земель, ему подвластных, не трепетала его имени. Сильный любовью подданных, твердый в вере своих державных предков, царь русской отвергал все честолюбивые предложения Наполеона; переговоры длились, и ничто, по-видимому, не нарушало еще общего спокойствия и тишины. Одни, не сомневаясь в могуществе России, смотрели на эту отдаленную грозу с равнодушием людей, уверенных, что буря промчится мимо. Другие – и, к сожалению, также русские, – трепеща пред сей воплощенной судьбою народов, желали мира, не думая о губительных его последствиях. Кипящие мужеством юноши ожидали с нетерпением войны. Старики показывали сомнительно головами и шепотом поговаривали о бессмертном Суворове. Но будущее скрывалось для всех под каким-то таинственным покровом. Народ не толпился еще вокруг храмов господних; еще не раздавались вопли несчастных вдов и сирот и, несмотря на турецкую войну, которая кипела в Молдавии, ничто не изменилось в шумной столице севера. Как всегда, богатые веселились, бедные работали, по Неве гремели народные русские песни, в театрах пели французские водевили, парижские модистки продолжали обирать русских барынь; словом, все шло по-прежнему. На западе России собирались грозные тучи; но гром еще молчал.

В один прекрасный летний день, в конце мая 1812 года, часу в третьем пополудни, длинный бульвар Невского проспекта, начиная от Полицейского моста до самой Фонтанки, был усыпан народом. Как яркой цветник, пестрелись толпы прекрасных женщин, одетых по последней парижской моде. Зашитые в галуны лакеи, неся за ними их зонтики и турецкие шали, посматривали спесиво на проходящих простолюдинов, которые, пробираясь бочком по краям бульвара, смиренно уступали им дорогу. В промежутках этих разноцветных групп мелькали от времени до времени беленькие щеголеватые платица русских швей, образовавших свой вкус во французских магазинах, и тафтяные капотцы красавиц среднего состояния, которые, пообедав у себя дома на Петербургской стороне или в Измайловском полку, пришли погулять по Невскому бульвару и полюбоваться большим светом. Молодые и старые щеголи, в уродливых шляпах *a la cendrillon*¹, с сучковатыми палками, обгоняли толпы гуляющих дам, заглядывали им в лицо, любезничали и отпускали поминутно ловкие фразы на французском языке; но лучшее украшение гуляний петербургских, блестящая гвардия царя русского была в походе, и только кой-где среди круглых шляп мелькали белые и черные султаны гвардейских офицеров; но лица их были пасмурны; они завидовали участи своих товарищей и тосковали о полках своих, которые, может быть, готовились уже драться и умереть за отечество.

¹ В стиле золушки (*франц.*).

В одной из боковых аллей Невского бульвара сидел на лавочке молодой человек лет двадцати пяти; он чертил задумчиво своей палочкой по песку, не обращал никакого внимания на гуляющих и не подымал головы даже и тогда, когда проходили мимо его первостепенные красавицы петербургские, влеча за собою взоры и сердца ветреной молодежи и вынуждая невольные восклицания пожилых обожателей прекрасного пола. Но зато почти ни одна дама не проходила мимо без того, чтоб явно или украдкой не бросить любопытного взгляда на этого задумчивого молодого человека. Благородная наружность, черные как смоль волосы, длинные, опущенные книзу ресницы, унылый, задумчивый вид – все придавало какую-то неизъяснимую прелесть его смуглому, но прекрасному и выразительному лицу. Известный роман «Матильда, или Крестовые походы» сводил тогда с ума всех русских дам. Они бредили Малек-Аделем, искали его везде и, находя что-то сходное с своим идеалом в лице задумчивого незнакомца, глядели на него с приметным участием. По его узкому, туго застегнутому фраку, черному галстуку и небольшим усам нетрудно было догадаться, что он служил в кавалерии, недавно скинул эполеты и не совсем еще отстал от некоторых военных привычек.

– Здравствуй, Рославлев! – сказал, подойдя к нему, видной молодой человек в однобортном гороховом сюртуке, с румяным лицом и голубыми, исполненными веселости глазами, – Что ты так задумался?

– А, это ты, Александр! – отвечал задумчивый незнакомец, протянув к нему ласково свою руку.

– Слава богу, что я встретил тебя на бульваре, – продолжал молодой человек. – Пойдем ходить вместе.

– Нет, Зарецкой, не хочу. Я прошел раза два, и мне так надоела эта пестрота, эта куча незнакомых лиц, эти непрерывные французские фразы, эти...

– Ну, ну!.. захандрил! Полно, братец, пойдем!.. Вон, кажется, опять она... Точно так!.. видишь ли вот этот лиловый капотец?.. Ах, mon cher², как хороша!.. прелесть!.. Что за глаза!.. Какая-то приезжая из Москвы... А ножка, ножка!.. Да пойдем скорее.

– Повеса! когда ты остепенишься?.. Подумай, ведь тебе скоро тридцать.

– Так что ж, сударь?.. Не прикажете ли мне, потому что я несколькими годами вас старше, не смею любоваться ничем прекрасным?

– Да ты только что любишься; а тебе бы пора перестать любоваться всеми женщинами, а полюбить одну.

– И смотреть таким же сентябрем, как ты? Нет, душенька, спасибо!.. У меня вовсе нет охоты сидеть повесив нос, когда я чувствую, что могу еще быть веселым и счастливым...

– Но кто тебе сказал, что я несчастлив? – перервал с улыбкою Рославлев.

– Кто?.. да на что ты походишь с тех пор, как съездил в деревню, влюбился, помолвил и собрался жениться? И, братец! черт ли в этом счастье, которое сделало тебя из веселого малого каким-то сентиментальным меланхоликом.

– Так ты находишь, что я в самом деле переменялся?

– Удивительно!.. Помнишь ли, как мы воспитывались с тобою в Московском университетском пансионе?..

– Как не помнить! Ты почти всегда был последним в классах.

– А ты первым в шалостях. Никогда не забуду, как однажды ты вздумал передразнить одного из наших учителей, вскарабкался на кафедру и начал: «Мы говорили до сего о вавилонском столпотворении, государи мои; теперь, с позволения сказать, обратимся к основанию Ассирийской империи».

– Ах, мой друг! – перервал Рославлев, – тогда нас все забавляло!

² мой дорогой (франц.).

– Да меня и теперь забавляет, – продолжал Зарецкой. – Вольно ж тебе видеть все под каким-то черным крепом.

– Ты, верно, бы этого не сказал, Александр, если б увидел меня вместе с моею Полиною. А впрочем, нет, что толку! ты и тогда не понял бы моего счастья, – чувство, которое делает меня блаженнейшим человеком в мире, быть может, показалось бы тебе смешным. Да, мой друг! не прогневайся! оно недоступно для людей с твоим характером.

– Покорно благодарю!.. То есть: я не способен любить, я человек бездушной... Не правда ли?.. Но дело не о том. Ты тоскуешь о своей Полине. Кто ж тебе мешает лететь в ее страстные объятия?.. Уж выпускают ли тебя из Петербурга? Не задолжал ли ты, степенный человек?.. Меня этак однажды продержали недельки две лишних в Москве... Послушай! если тебе надобно тысячи две, три...

– Нет, мой друг! мне деньги не нужны.

– Так о чем же ты грустишь?

– Но разве ты полагаешь, что влюбленный человек не думает ни о чем другом, кроме любви своей? Нет, Зарецкой! Прежде, чем я влюбился, я был уже русским...

– Так что ж?

– Как, мой друг? А буря, которая собирается над нашим отечеством!

– И, милой! это дождевая туча: проглянет солнышко – и ее как не бывало.

– Чтоб угодить будущей моей теще, я вышел в отставку; а может быть, скоро вспыхнет ужасная война, может быть, вся Европа...

– Пожалует к нам в гости? Пустое, *mon cher*! Поговорят, поговорят между собою, пострадают друг друга, да тем и дело кончится.

– Ты думаешь?

– Россия не Италия, мой друг! И далеко и холодно; да и народ-то постоит за себя. Не беспокойся, Наполеон умен; поверь, он знает, что мы народ непросвещенный, северные варвары и терпеть не можем незваных гостей. А признаюсь, мне почти досадно, что дело обойдется без ссоры. *L'homme du Destin*³ и его великая нация так зазнались, что способа нет. Вот, посмотри! Видишь ли этих двух господчиков? Это лавочники из одного французского магазина. Посмотри, как важно они поглядывают на всех с высоты своего величия... Тьфу, черт возьми! Ни дать ни взять французские маршалы!.. А! вот опять лиловый капотец... Послушай: если ты не хочешь гулять, так я... Ах, боже мой! она сходит с бульвара.... села в карету... Эх, *mon cher*! как досадно, что я с тобой заболтался... Ну, делать нечего... Да, кстати!.. где ты сегодня обедаешь?

– Я хотел ехать к Радугиной.

– И полно, не езд; пообедай со мною.

– Нельзя: мне надобно с ней проститься.

– А когда ты едешь отсюда?

– Завтра непременно.

– Ну, вот изволишь видеть! Когда мы с тобой увидимся? Пожалуйста *mon cher*, обедаем вместе. Ты можешь ехать к Радугиной вечером.

– Эх, Александр! Если б ты знал, как мне неприятно бывать по вечерам у Радугиной! Вечером, почти всякой раз, я встречаю у нее кого-нибудь из чиновников французского посольства, а это для меня нож вострый! Уж это не лавочники из французского магазина; послушал бы ты, как они поговаривают о России!.. Несколько раз я ошибался и думал, что дело идет не об отечестве нашем, а о какой-нибудь французской провинции. Ну, поверишь ли? Вот так кровь и кипит в жилах – терпенья нет! А хозяйка... Боже мой!.. Только что не крестится при имени Наполеона. Клянусь честию, если б не родственные связи, то нога бы моя не была в ее доме.

³ Избранник судьбы (*франц.*).

– И ты сердишься? Да от этого надобно умереть со смеху. Вот то-то и беда, ты не умеешь ничем забавляться. Если б я был на твоём месте, то подсел бы к какому-нибудь советнику посольства, стал бы ему подличать и преуниженно попросил бы наконец: поместить меня при первой вакансии супрефектом в Тобольск или Иркутск. Он бы стал ломаться, и я сделал бы из него настоящего Жокриса!.. А, кстати!.. Вчера Талон⁴ был как ангел в этой роле... Ты видел когда-нибудь французской водевиль «Отчаянье Жокриса»?

– Нет! я езжу только в русский театр.

– Да бишь виноват! Ты любишь чувствительные драмы. Ну, что ж? обедаем ли мы вместе?

– Если ты непременно хочешь...

– Послушай, мой милой, я не приглашаю тебя к себе: ты знаешь, у меня нет и повара. Мы отобедаем в ресторации.

– У Жискара?

– И нет, mon cher! Надобно разнообразить свои удовольствия. У Жискара и Тардифа мы увидим все знакомые лица. Одно да одно – это скучно. Знаешь ли что? Обедаем сегодня у Френзеля?

– По мне все равно, где хочешь. А что это за Френзель?

– Это ресторация, в которой платят за обед по рублю с человека. Там увидим мы презабавные физиономии: прегордых писцов из министерских департаментов, глубокомысленных политиков в изорванных сюртуках, художников без работы, учителей без мест, а иногда и журналистов без подписчиков. Что за разговоры мы услышим! Все обедают за общим столом; должность официантов отправляют две толстые служанки и, когда гости откушают суп, у всех, без исключения, собирают серебряные ложки. Умора, да и только!

– Что же тут смешного? Это обидно.

– И полно, mon cher! Представь себе, что и у нас так же отберут ложки – для того, чтоб мы ошибкою не положили их в карман. Разве это не забавно? Ну право, я иногда очень люблю эту милую простоту. Однажды, в Москве, мне вздумалось, из шалости, пообедать с Ленским в одном русском трактире, и когда я спросил, что возьмут с нас двоих за обед, то трактирщик отвечал мне преважно: «По тридцати копеек с рыла!» *С рыла!!*. Мы оба с Ленским чуть не умерли со смеху. Пойдем к Френзелю, мой милый. Не вечно же быть в хорошем обществе; надобно иногда потолкаться и в народе.

– Что с тобою делать, повеса! – сказал Рославлев, вставая с скамьи. – Пойдем в твою рублевую ресторацию.

Глава II

Не доходя до Казанского моста, Зарецкой сошел с бульвара и, пройдя несколько шагов вдоль левой стороны улицы, повел за собою Рославлева, по крутой лестнице, во второй этаж довольно опрятного дома. В передней сидел за дубовым прилавком толстый немец. Они отдали ему свои шляпы.

– Видишь ли, – сказал Зарецкой, входя с приятелем своим в первую комнату, – как здесь все обдуманно? Ну как уйдешь, не заплатя за обед? Ведь шляпа-то стоит дороже рубля.

В первой комнате человек пожилых лет, в синем поношенном фраке, разговаривал с двумя молодыми людьми, которые слушали его с большим вниманием.

– Да, милостивые государи! – говорил важным голосом синий фрак, – поверьте мне, старику; я делал по сему предмету различные опыты и долгом считаю сообщить вам, что принятой способ натирать по скобленому месту сандараком – есть самый удобнейший: никогда не расплывется. Я сегодня в настольном регистре целую строку выскоблил, и смею вас уверить,

⁴ Комической актер тогдашней французской труппы в С.-Петербурге. (Прим. автора.)

что самой зоркой столоначальник не заметит никак этой поскобки. Все другие способы, как-то: насаленная бумажка, натирание сукном, лощение ногтем и прочие мелкие средства никуда не годятся.

– Это канцелярские чиновники! – сказал Зарецкой. – Их разговоры вообще очень поучительны, но совсем не забавны. Пойдем в залу; там что-то громко разговаривают.

В зале, во всю длину которой был накрыт узкой стол, человек двадцать, разделяясь на разные группы, разговаривали между собою. В одном углу с полдюжины студентов Педагогического института толковали о последней лекции профессора словесных наук; в другом – учитель-француз рассуждал с дядькою немцем о трудностях их звания; у окна стоял, оборотясь ко всем спиною, офицер в мундирном сюртуке с черным воротником. С первого взгляда можно было подумать, что он смотрел на гуляющих по бульвару; но стоило только заглянуть ему в лицо, чтоб увериться в противном. Глаза его, устремленные на противоположную сторону улицы, выражали глубокую задумчивость; он постукивал машинально по стеклам пальцами, выбивал тревогу, сбор, разные марши и как будто бы не видел и не слышал ничего. Этот молчаливый офицер был среднего роста, белокур, круглолиц и вообще приятной наружности; но что-то дикое, бесчувственное и даже нечеловеческое изображалось в серых глазах его. Казалось, ни радость, ни горе не могли одушевить этот неподвижный, равнодушный взор; и только изредка улыбка, выражающая какое-то холодное презрение, появлялась на устах его.

В двух шагах от него краснощекой с багровым носом толстяк разговаривал с худощавым стариком. Зарецкой и Рославлев сели подле них.

– Нет, почтеннейший! – говорил старик, покачивая головою, – воля ваша, я не согласен с вами. Ну рассудите милостиво: здесь берут по рублю с персоны и подают только по четыре блюда; а в ресторации «Мыс Доброй Надежды»...

– Так, батюшка! – перервал толстый господин, – что правда, то правда! Там подают пять блюд, а берут только по семидесяти пяти копеек с человека. Так-с! Но позвольте доложить: блюда блюдам розь. Конечно, пять блюд – больше четырех; да не в счете дело: блюдца-то, сударь, там больно незатейливые.

– Кто и говорит, батюшка! Конечно, стол не ахти мне; но не погневайтесь: я и в здешнем обеде большого деликатеса не вижу. Нет, воля ваша! Френзель зазнался. Разве не замечаете, что у него с каждым днем становится меньше посетителей? Вот, например, Степан Кондратьевич: я уж его недели две не вижу.

– В самом деле, – подхватил толстяк, – он давно здесь не обедал. А знаете ли, что без него скучно? Что за краснобай!.. как начнет рассказывать, так есть что послушать: гусли да и только! А новостей-то всегда принесет, новостей – господи боже мой!.. Ну что твои газеты... Э! да как легок на помине!.. вот и он! Здравствуйте, батюшка Степан Кондратьевич! – продолжал толстой господин, обращаясь находящему человеку средних лет, в кофейном фраке и зеленых очках, который выступал, прихрамывая и опираясь на лакированную трость с костяным набалдашником.

Появление этого нового гостя, казалось, произвело на многих сильное впечатление, которое удвоилось при первом взгляде на его таинственную и нахмуренную физиономию. Поклонясь с рассеянным видом на все четыре стороны, он сел молча на стул, нахмурился еще более, наморщил лоб и, посвистывая себе под нос, начал преважно протирать свои зеленые очки. В одну минуту прекратились почти все отдельные разговоры. Учитель француз, дядька немец, студенты и большая часть других гостей столпились вокруг Степана Кондратьевича, который, устремив глаза в потолок, продолжал протирать очки и посвистывать весьма значительным образом. Один только молчаливый офицер, казалось, не заметил этого общего движения и продолжал по-прежнему смотреть в окно.

– Ну что, почтеннейший! – сказал толстый господин, – что скажете нам новенького?

– Что новенького?.. – повторил Степан Кондратьевич, надевая свои очки, – Гм, гм!.. что новенького?.. И старенького довольно, государь мой!

– Так-с!.. да старое-то мы знаем; не слышно ли чего-нибудь поновее?

– Поновее?.. Гм, гм! Мало ли что болтают, всего не переслушаешь; да и не наше дело, батюшка!.. Вот, изволите видеть, рассказывают, будто бы турки... куда бойко стали драться.

– Право!

– Говорят так, а впрочем, не наше дело. Слух также идет, что будто б нас... то есть их побили под Бухарестом. Тысяч тридцать наших легло.

– Как? – вскричал Рославлев, – большая часть молдавской армии?

– Видно что так. Ведь нашего войска и сорока тысяч там не было.

– Извините! В молдавской армии пятьдесят тысяч под ружьем.

Степан Кондратьевич взглянул с насмешливой улыбкою на Рославлева и повторил сквозь зубы:

– Под ружьем!.. гм, гм!.. Может быть; вы, верно, лучше моего это знаете; да не о том дело. Я вам передаю то, что слышал: наших легло тридцать тысяч, а много ли осталось, об этом мне не сказывали.

– Однако мы все-таки выиграли сражение? – спросил худощавый старик.

– Разумеется. Когда ж мы проигрываем, батюшка? Мы, изволите видеть, государь мой, всегда побиваем других; а нас – боже сохрани! – нас никто не бьет!

– Тридцать тысяч! – повторил краснощекой толстяк. – Проклятые турки! А не известно ли вам, как происходило сражение?

– Да, смею доложить, – сказал важным тоном Степан Кондратьевич, – я вам могу сообщить все подробности. Позвольте: видите ли на половице этот сучок?.. Представьте себе, что это Бухарест.

– Так-с!

– Ну вот, изволите видеть, – продолжал Степан Кондратьевич, проводя по полу черту своей тростью, – вот тут стояло наше войско.

– Так-с, батюшка, то есть здесь, по левую сторону сучка?

– Именно; а на этой стороне расположен был турецкой лагерь. Вот, сударь, в сумерки или перед рассветом – не могу вам сказать наверное – только втихомолку турки двинулись вперед.

– Так-с!

– Выстроили против нашего центра маскированную батарею в двести пушек.

– В двести пушек?.. Так-с, батюшка, так-с...

– Надобно вам сказать, что у них теперь артиллерия отличная: тяжелая действует скорее нашей конной, а конная не по-нашему, государь мой! вся на верблюдах. Изволите видеть, как умно придумано?..

– Так-с, так-с!

– Ну вот, сударь, наши и думать не думают, как вдруг, батюшка, они грянут из всех пушек! Пошла потеха. И пехота, и конница, и артиллерия, и господа боже мой!.. Вот янычары заехали с флангу: алла! – да со всех четырех ног на нашу кавалерию.

– Позвольте! – перервал один из студентов. – Янычары не конное, а пехотное войско.

– Эх, сударь! То прежние янычары, а это нынешние.

– Конечно, конечно! – подхватил толстяк, – у них все по-новому. Ну, сударь! Янычары ударили на нашу кавалерию?..

– Да, батюшка; что делать? Пехота не подросла, а уж известное дело: против их конницы – наша пас...

– Так-с, так-с!

– Главнокомандующий генерал Кутузов, видя, что дело идет худо, выехал сам на коне и закричал: «Ребята, не выдавай!» Наши солдаты ободрились, в штыки, началась резня – и турок попятити назад.

– Слава богу!.. – вскричал худощавый старик.

– Пойдите, пойдите! – продолжал Степан Кондратьевич. – Этим дело не кончилось. Все наше войско двинулось вперед, конница бросилась на неприятельскую пехоту, и что ж?.. Как бы вы думали?.. Турки построились в каре!.. Слышите ли, батюшка? в каре!.. Что, сударь, когда это бывало?

– Так-с, так-с! Умны стали, проклятые!

– Вот, наши туда, сюда, и справа, и слева – нет, сударь! Турки стоят и дерутся, как на маневрах!.. Подошли наши резервы, к ним также подоспел секурс⁵, и, как слышно, сражение продолжалось непрерывно четверо суток; на пятые...

– Верно, всем захотелось поесть? – перервал Зарецкой.

– Поесть? Нет, сударь, не пойдет еда на ум, когда с нашей стороны, – как я уже имел честь вам докладывать, – легло тридцать тысяч и не осталось ни одного генерала: кто без руки, кто без ноги. А главнокомандующего, – прибавил Степан Кондратьевич вполголоса, – перешибло пополам ядром, вместе с лошадыю.

– Гер Езус!..⁶ – вскричал немец дядька, – вместе с лошадыю!

– Diable! C'est un fier coup de canon!⁷ – примолвил учитель француз.

– Господи боже мой! – сказал худощавой старик, – какие потери! Легко вымолвить – все генералы! тридцать тысяч рядовых! Да ведь это целая армия!

– Конечно, целая армия, – повторил Степан Кондратьевич. – В старину Суворов и с двадцатью тысячами бивал по сту тысяч турок. Да то был Суворов! Когда под Кагулом он разбил визиря...

– Не он, а Румянцев, – перервал Рославлев.

– И, сударь! Румянцев, Суворов – все едино: не тот, так другой; дело в том, что тогда умели бить и турок и поляков. Конечно, мы и теперь пожаловаться не можем, – у нас есть и генералы и генерал-аншефы... гм, гм!.. Впрочем, и то сказать, нынешние турки не прежние – что грех таить! Учители-то у них хороши! – примолвил рассказчик, взглянув значительно на французского учителя, который улыбнулся и гордо поправил свой галстук.

– Говорят, – продолжал Степан Кондратьевич, – что у турецкого султана вся гвардия набрана из французов, так дивиться нечему, если нас... то есть если мы теряем много людей. Слышно также, что будто бы султан не больно подается на мировую и требует от нас Одессы... Конечно, не наше дело... а жаль... город торговой... портовой... и чего нам стоила эта скороспелка Одесса! Сколько посажено в нее денег!.. Да делать нечего! Как не под силу придет барахтаться, так вспомнишь поневоле русскую пословицу: худой мир лучше доброй брани.

Тут молчаливый офицер медленно повернулся и, взглянув пристально на рассказчика, сказал:

– Под Бухарестом не было сражения; не мы, а турки просят мира. Французы служат своему императору, а не турецкому султану, и одни подлецы предпочитают постыдный мир неоходимой войне.

Все взоры обратились на незнакомого офицера. Степан Кондратьевич хотел что-то сказать, заикнулся, выронил из руки трость, нагнулся ее поднимать и сронил с носа свои зеленые очки. Студенты засмеялись, и почти в то же время одна из служанок, внеся в залу огромную миску с супом, объявила, что кушанье готово. Все сели за стол. Против Зарецкого и Рославлева,

⁵ подмога (*франц.*)

⁶ Господи Иисусе!.. (*нем.*)

⁷ Черт! Вот славный пушечный выстрел! (*франц.*)

между худощавым стариком и толстым господином, поместился присмиривший Степан Кондратьевич; прочие гости расселись также рядом, один подле другого, выключая офицера: он сел поодаль от других на конце стола, за которым оставалось еще много порожних мест. Проворные служанки в одну минуту разнесли тарелки с супом. Наступила глубокая тишина, и только изредка восклицания: бутылку пива!.. кислых щей!.. белого хлеба!.. – прерывали общее молчание.

– Душенька! – сказал Зарецкой одной из служанок, – бутылку шампанского.

При сем необычайном требовании все головы, опущенные книзу, приподнялись; у многих ложки выпали из рук от удивления, а служанка остоленела и, перебирая одной рукой свой фартук, повторила почти с ужасом:

– Бутылку шампанского!

– Да, душенька.

– Настоящего шампанского?

– Да, душенька.

– То есть французского, сударь?

– Да, душенька.

Служанка вышла вон и через минуту, воротясь назад, сказала, что вино сейчас подадут.

– Ведь оно стоит восемь рублей, сударь! – прибавила она, поглядывая недоверчиво на Зарецкого.

– Знаю, миленькая.

Если б Зарецкой был хорошим физиономистом, то без труда бы заметил, что, выключая офицера, все гости смотрели на него с каким-то невольным почтением. Толстый господин, который только что успел прегордо и громогласно прокричать: «Бутылку сантуринского!» – вдруг притих и почти шепотом повторил свое требование. В ту минуту, как Зарецкой, дождавшись наконец шампанского, за которым хозяин бегал в ближайший погреб, наливал первый бокал, чтоб выпить за здоровье невесты своего приятеля, – вошел в залу мужчина высокого роста, с огромными черными бакенбардами, в щеголеватом однобортном сюртуке, в одной петлице которого была продета ленточка яркого пунцового цвета. Лицо его было бы довольно приятно, если б не выражало какую-то дерзкую самонадеянность, какое-то бесстыдное наянство, которые при первом взгляде возбуждали в каждом невольное негодование. Вопреки принятому в сей ресторации обычаю, он вошел в столовую, не снимая шляпы, бросил ее на окно и, не удостоивая никого взглядом, сел за стол подле Рославлева. Подозвав одну из служанок, он сказал, что не хочет ничего есть, кроме жаркого, и велел себе подать бутылку шатолафиту. По иностранному его выговору и по самой физиономии не трудно было отгадать, что он француз.

При появлении этого нового лица легкий румянец заиграл на щеках молчаливого офицера; он устремил на француза свой бесчувственный, леденелый взор, и едва заметная, но исполненная неприязни и глубокого презрения улыбка одушевила на минуту его равнодушную и неподвижную физиономию.

– Жареные рябчики! – вскричал толстый господин, провожая жадным взором служанку, которая на большом блюде начала разносить жаркое. – Ну вот, почтеннейший, – продолжал он, обращаясь к худощавому старику, – не говорил ли я вам, что блюда блюдам розь. В «Мысе Доброй Надежды» и пять блюд, но подают ли там за общим столом вот это? – примолвил он, подхватя на вилку жареного рябчика.

– Что правда, то правда, – отвечал старик, принимаясь за свою порцию. – Там из жареной телятины шагу не выступят.

Чрез несколько минут обед кончился. Офицер закурил сигарку и сел опять возле окна; Степан Кондратьевич, поглядывая на него исподлобья, вышел в другую комнату; студенты остались в столовой; а Зарецкой, предложив бокал шампанского француз, который в свою очередь потчевал его лафитом, завел с ним разговор о политике.

– Я слышал, – сказал Зарецкой, – что ваши дела не так-то хорошо идут в Испании? Француз улыбнулся.

– Не потому ли вы это думаете, — отвечал он, — что Веллингтону удалось взять обманом Бадаиос? Не беспокойтесь, он дорого за это заплатит.

– Однако ж, верно, не дороже того, что заплатили французы, когда брали Сарагоссу, – возразил Рославлев.

– Я советую вам спросить об этом у сарагосских жителей, – отвечал француз, бросив гордый взгляд на Рославлева. – Впрочем, – продолжал он, – я не знаю, почему называют войною простую экзекуцию, посланную в Испанию для усмирения бунтовщиков, которых, к стыду всех просвещенных народов, английское правительство поддерживает единственно из своих торговых видов?

– Бунтовщиков! – сказал Рославлев. – Но мне кажется, что законный их государь...

– Иосиф, брат императора французов, – по крайней мере до тех пор, пока Испания не названа еще французской провинцией.

– Я не думаю, – возразил Зарецкой, – чтобы Европа согласилась признать это древнее государство французской провинцией.

– Европа! – повторил с презрительной улыбкою француз. – А знаете ли, в каком тесном кругу заключается теперь ваша Европа?.. Это небольшое местечко недалеко от Парижа; его называют Сен-Клу.

– Как, сударь! и вы думаете, что все европейские государи...

– Да, мы, французы, привыкли звать их всех одним общим именем: Наполеон. Это гораздо короче.

Лицо Рославлева покрылось ярким румянцем; он хотел что-то сказать, но Зарецкой предупредил его.

– Итак, вы полагаете, – сказал он француз, – что воля Наполеона должна быть законом для всей Европы?

– Этот вопрос давно уже решен, – отвечал француз.

– Однако ж если вы считаете Англию в числе европейских государств, то кажется... но, впрочем, может быть, и англичане также бунтуют? Только, я думаю, вам трудно будет послать к ним экзекуцию: для этого нужен флот; а по милости бунтовщиков англичан у вас не осталось ни одной лодки.

– Англия! – вскричал француз. – Да что такое Англия? И можно ли назвать европейским государством этот ничтожный остров, населенный торгашами? Этот христианской Алжир, который скоро не будет иметь никакого сообщения с Европою. Нет, милостивый государь! Англия не в Европе: она в Азии; но и там владычество ее скоро прекратится. Индия ждет своего освободителя, и при первом появлении французских орлов на берегах Гангеса раздастся крик свободы на всем Индийском полуострове.

– Но Россия, – сказал Рославлев, – Россия, сударь?

– О! Россия, верно, не захочет ссориться с Наполеоном. Не трогая нимало вашей национальной гордости, можно сказать утвердительно, что всякая борьба России с Францией была бы совершенным безумием.

– В самом деле? – перервал Зарецкой. – Ну, а если мы, на беду, сойдем с ума и вздумаем с вами поссориться?

– От всей души желаю, – сказал француз, – чтоб этого не было; но если, к несчастью, ваше правительство, ослепленное минутным фанатизмом некоторых беспокойных людей или обманутое происками британского кабинета, решится восстать против колосса Франции, то...

– Ну, сударь! Что ж тогда с нами будет? – спросил, улыбаясь, Зарецкой.

– Что будет? Забавный вопрос! Кажется, не нужно быть пророком, чтобы отгадать последствия этого необдуманного поступка. Я спрашиваю вас самих: что останется от России,

если Польша, Швеция, Турция и Персия возьмут назад свои области, если все портовые города займутся нашими войсками, если...

– Вы забыли, – вскричал Рославлев, вскочив со своего места, – что в России останутся русские; что тридцать миллионов русского народа, говорящих одним языком, исповедующих одну веру, могут легко истребить многочисленные войска вашего Наполеона, составленные из всех народов Европы!

– Помилуйте! да что такое народ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значит ничего в военном отношении; и боже вас сохрани от народной войны! Наполеон умеет быть великодушным победителем; но горе той земле, где народ мешается не в свое дело! Половина Испании покрыта пеплом; та же участь может постигнуть и ваше отечество. Солдат выполняет свою обязанность, когда дерется с неприятелем, но мирной гражданин должен оставаться дома. В противном случае он разбойник, бунтовщик и не заслуживает никакой пощады.

– Разбойник! – повторил Рославлев прерывающимся от нетерпения и досады голосом. – И вы смеете называть разбойником того, кто защищает своего государя, отечество, свою семью...

– Что ж вы горячитесь? – перервал француз. – Я не мешаю вам хвалить образ войны, приличный одним варварам и отвратительный для каждого просвещенного человека; но позвольте и мне также остаться при моем мнении. Я повторяю вам, что народная война не спасла б России, а ускорила б ее гибель. Мы, французы, любим пожить весело, сыплем деньгами, мы щедры, великодушны, и там, где нас принимают с ласкою, никто не пожалуется на бедность, но если мы вынуждены употреблять меры строгости, то целые государства исчезают при нашем появлении. Впрочем, все то, что мы говорили, одно только предположение, и хотя мнение мое основано на здравом смысле...

– И еще на кой-чем другом, – прибавил молчаливый офицер, подойдя к французу. – Позвольте спросить, – продолжал он спокойным голосом, – дорого ли вам платят за то, чтоб проповедовать везде безусловную покорность к вашему великому Наполеону?

– Что это значит? – спросил француз, вставая с своего стула.

– И надобно вам отдать справедливость, – продолжал офицер, – вы исполняете вашу не слишком завидную должность во всех рублевых трактирах с таким же похвальным усердием, с каким исполняют ее другие в гостининых комнатах хорошего общества.

– Государь мой! я вас не понимаю.

– А кажется, очень понятно. Я вас давно уже знаю, вы мне надоели. Скажите, зачем у вас в петлице эта ленточка? Орден Почетного легиона прилично носить храбрым французским воинам, а вы...

Тут офицер сказал что-то на ухо французу.

– Как вы смеете? – вскричал он, отступив два шага назад.

– Извините! На нашем варварском языке этому ремеслу нет другого названия. Впрочем, господин... как бы сказать повежливее, господин агент, если вам это не нравится, то... не угодно ли сюда к сторонке: нам этак ловчее будет познакомиться.

– Да, сударь, я хочу, я требую!..

– Тише, не шумите, а не то я подумаю, что вы трус и хотите отделаться одним криком. Послушайте!..

Он взял за руку француза и, отойдя к окну, сказал ему вполголоса несколько слов. На лице офицера не заметно было ни малейшей перемены; можно было подумать, что он разговаривает с знакомым человеком о хорошей погоде или дожде. Но пылающие щеки защитника европейского образа войны, его беспокойный, хотя гордый и решительный вид – все доказывало, что дело идет о назначении места и времени для объяснения, в котором красноречивые фразы и логика ни к чему не служат.

– Вот как трудно быть уверену в будущем, – сказал Рославлев, выходя с своим приятелем из трактира. – Думал ли этот офицер, что он встретит в рублевой ресторации человека, с которым, может быть, завтра должен резаться.

– И полно, mon cher! дело обойдется без кровопролития. Если бы каждая трактирная ссора кончалась поединком, то давно бы все рестораторы померли с голода. И кто дерется за политические мнения?

– Но если это мнение обижает целую нацию?

– Да разве нация человек? Разве ее можно обидеть? Французы и до сих пор не признают нас за европейцев и за нашу хлеб-соль величают варварами; а отечество наше, в котором соединены климаты всей Европы, называют землею белых медведей и, что всего досаднее, говорят и печатают, что наши дамы пьют водку и любят, чтобы мужья их били. Так что ж, сударь! не прикажете ли за это вызывать на дуэль каждого парижского лоскутника, который из насущного хлеба пишет и печатает свои бредни? Да бог с ними, на здоровье! Пускай себе врут, что им угодно. Мы от их слов татарами не сделаемся; в Крыму не будет холодно; мужья не станут бить своих жен, и, верно, наши дамы, в угодность французским вояжерам⁸, не разрешат на водку, которую, впрочем, мы могли бы называть ликером, точно так же, как называется ресторациею харчевня, в которой мы обедали.

Походя несколько времени по опустевшему бульвару, наши молодые друзья расстались. Зарецкой обещал чем свет приехать проститься с Рославлевым, который спешил домой, чтоб отдохнуть и, переодевшись, отправиться на вечер к княгине Радугиной.

Глава III

В девятом часу вечера карета Рославлева остановилась в Большой Миллионной у подъезда дома, принадлежащего княгине Радугиной. Входя в переднюю, Рославлев, с приметным неудовольствием, заметил в числе слуг богато одетого егеря, который, развалясь на стуле, играл своей треугольной шляпою с зеленым султаном и поглядывал свысока на других лакеев, сидевших от него в почтенной дистанции и вполголоса разговаривавших меж собою. Пройдя приемную и две гостиные комнаты, он встречен был официантом, который, растворя дверь в роскошную диванную, доложил о нем громогласно хозяйке дома.

Родственница Рославлева, богатая вдова, княгиня Радугина, могла служить образцом хорошего тона (к счастью) тогдашнего времени. Она говорила по-русски дурно, по-французски прекрасно, умирала с тоски, живя в Петербурге, презирала все русское, жила два года в Париже, два месяца в Лозанне и третий уже год собиралась ехать в Италию. Окруженная иностранцами, она привыкла слышать, что Россия и Лапландия почти одно и то же; что отечество наше должно рабски подражать всему чужеземному и быть сколком с других наций, а особливо с французской, для того чтоб быть чем-нибудь; что нам не должно и нельзя мыслить своей головою, говорить своим языком, носить изделье своих фабрик, иметь свою словесность и жить по-своему. Бедная Радугина в простоте души своей была уверена, что высочайшая степень просвещения, до которой Россия могла достигнуть, состояла в совершенном отсутствии оригинальности, собственного характера и национальной физиономии; одним словом: заслужить название обезьян Европы – была, по мнению ее, одна возможная и достижимая цель для нас, несчастных северных варваров. Ее всегдашнее общество составлялось предпочтительно из чиновников французского посольства и из нескольких русских молодых литераторов, которые вслух называли ее Коринною, потому что она писала иногда французские стишки, а потихоньку смеялись над ней вместе с французами, которые в свою очередь насмеялись и над ней,

⁸ путешественникам (франц.)

и над ними, и над всем, что казалось им забавным и смешным в этом доме, в котором, по словам их, каждый день разыгрывались презабавные пародии европейского просвещения.

Княгиня Радугина была некогда хороша собою; но беспрестанные праздники, балы, ночи, проверенные без сна, – словом, все, что сокращает век наших модных дам, не оставило на лице ее и признаков прежней красоты, несмотря на то, что некогда кричали о ней даже и в Москве:

...Которая и в древни времена
Прелестными была обильна и славна.

Одни исполненные томности черные глаза ее напоминали еще об этом давно прошедшем времени и позволяли иногда молодым поэтам в миленьких французских стишках, по большей части выкраденных из конфектной лавки Молинари, сравнивать ее по уму с одною из муз, а по красоте – со всеми тремя грациями.

Комната, в которой Рославлев нашел хозяйку дома, освещалась несколькими восковыми свечами, поставленными в прозрачных фарфоровых вазах, и ярким огнем, пылающим в прекрасном мраморном камине. На круглом столе из карельской березы стоял серебряный чайный прибор; перед ним на диване, покрытом богатой турецкой материею, сидела княгиня Радугина, облокотясь на вышитую по канве подушку, украшенную изображением Азора, любимой ее москвички, которая, по своему отвратительному безобразию, могла назваться совершенством в своем роде. Возле окна, закинув назад голову, сидел на модной *козетке*⁹ один из домашних ее поэтов; глаза его, устремленные кверху, искали на расписном плафоне¹⁰ комнаты вдохновения и четвертой рифмы к экспромту, заготовляемому на всякой случай. У камина какой-то художавый французский путешественник поил с блюдечка простывшим чаем толстого Азора, а подле дивана один из главных чиновников французского дипломатического корпуса, развлясь в огромных волтеровских креслах, разговаривал с хозяйкою.

– А, здравствуйте, *mon cousin*!¹¹ – сказала Радугина, разумеется по-французски, кивнув приветливо головою входящему Рославлеву. – Не хотите ли чаю?

– Нет, княгиня, я не пью чаю после обеда, – отвечал Рославлев, садясь на один из порожних стульев.

– Я вас целый век не видала. Уж не прощаться ли вы приехали со мною?

– Вы отгадали. Я завтра еду.

– За границу?

– Извините! в Москву, а потом в деревню.

– В деревню! Ах, как вы мне жалки!.. Азор! *viens ici, mon ami*!¹² Он вас беспокоит, *monsieur le come*?¹³

– О, нет! напротив, княгиня! – отвечал путешественник. – *Il est charmant*!¹⁴ Пей, мой друг, пей!

– Итак, вы едете завтра, *mon cousin*? Когда же вы воротитесь?

– Не знаю; но, верно, не прежде моей свадьбы.

⁹ небольшом диване для двух собеседников (*франц.*)

¹⁰ потолке (*франц.*)

¹¹ кузен! (*франц.*)

¹² иди сюда, мой дружок!.. (*франц.*)

¹³ господин граф? (*франц.*)

¹⁴ Он очарователен! (*франц.*)

– Ах, боже мой! представьте себе, какая distraction!¹⁵ Я совсем забыла, что вы помолвлены. Теперь понимаю: вы едете к вашей невесте. О, это другое дело! Вам будет весело и в Москве, и в деревне, и на краю света. *L'amour embellit tout.*¹⁶

– Жаль только, – перервал путешественник, – что любовь не греет у вас в России: это было бы очень кстати. Скажите, княгиня, бывает ли у вас когда-нибудь тепло? Боже мой! – прибавил он, подвигаясь к камину, – в мае месяце! *Quel pays!*¹⁷

– Что ж делать, граф! – сказала с глубоким вздохом хозяйка. – Никто не выбирает себе отечества!

– Да, сударыня! – подхватил дипломат. – Если б этот выбор зависел от нас, то, верно, в России было б еще просторнее; а во Франции так тесно, как в Большой парижской опере, когда давали в первый раз «Торжество Траяна»!

– И когда сам Траян присутствовал при своем торжестве, – прибавил путешественник.

– Скажите, *mon cousin*, – сказала Радугина, – ведь вы женитесь на Лидиной?

– Да, княгиня.

– На той самой, которая прошлого года была в Париже?

– То есть на ее дочери.

– Надеюсь, на старшей?

– Да, княгиня, на старшей.

– Ее, кажется, зовут Полиною? *Charmante personne!*..¹⁸ О чем мы с вами говорили, барон? – продолжала Радугина. – Ах, да!.. Знаете ли, *mon cousin*, что вы очень кстати приехали? Мне нужна ваша помощь. Представьте себе! *Monsieur le baron*¹⁹ уверяет меня, что мы должны желать, чтоб Наполеон пришел к нам в Россию. Боже мой! как это страшно! Скажите, неужели мы в самом деле должны желать этого?

Рославлев едва усидел на стуле.

– Как, сударыня! – вскричал он...

– Да, да! Он мне это почти доказал.

– *Pardon, princesse!*²⁰ – сказал хладнокровно дипломат, – вы не совсем меня поняли. Я не говорю, что русские должны положительно желать прихода наших войск в их отечество; я объяснял только вам, что если силою обстоятельств Россия сделается поприщем новых побед нашего императора и русские будут иметь благоразумие удержаться от народной войны, то последствия этой кампании могут быть очень полезны и выгодны для вашей нации.

– Извините, барон, мое невежество, – сказал Рославлев, – я, право, не понимаю...

– Не понимаете? Так спросите об этом у голландцев, у всего Рейнского союза; поезжайте в Швейцарию, в Италию; взгляните на утесистые, непроходимые горы, некогда отчаяние несчастных путешественников, а теперь прорезанные широкими дорогами, по которым вы можете, княгиня, прогуливаться в своем ландо²¹ спокойнее, чем по Невскому проспекту; спросите в Террачине и Неаполе: куда девались бесчисленные шайки бандитов, от которых не было проезда в южной Италии; сравните нынешнее просвещение Европы с прежними предрассудками и невежеством, и после этого не понимайте, если хотите, какие бесчисленные выгоды влечет за собою присутствие этого гения, колоссального, как мир, и неизбежного, как судьба.

– Прекрасное сравнение! – воскликнул молодой поэт. – Какое у вас цветущее воображение, барон!

¹⁵ рассеянность! (от *франц.* distraction)

¹⁶ Любовь все украшает. (Прим. автора)

¹⁷ Что за страна! (*франц.*)

¹⁸ Прелестное создание!.. (*франц.*)

¹⁹ Господин барон (*франц.*)

²⁰ Извините, княгиня! (*франц.*)

²¹ четырехместной карете (*франц.*)

– Неизбежный, как судьба!.. – повторила почти набожным голосом хозяйка дома, подняв к небесам свои томные глаза. – Ах, как должен быть величествен вид вашего Наполеона!.. Мне кажется, я его вижу перед собою!.. Какой *grandioso*²² должен быть в этом орлином взгляде, в этом...

– Не глядите так высоко, княгиня! – перервал с принужденною улыбкою Рославлев. – Наполеон невысокого роста.

– Да, ростом он меньше вашего великого Петра, – сказал насмешливо путешественник.

– И ростом и душою! – возразил Рославлев, устремив пылающий взор на француза, который почти до половины уже влез в камин. – Если вы, граф, читали когда-нибудь историю...

– Fi, fi! mon cousin!²³ – вскричала Радугина, – вы горячитесь. Разве нельзя спорить и рассуждать хладнокровно?

– Вы правы, княгиня, – сказал Рославлев, стараясь удержаться. – Граф не может понимать всю великость гения преобразователя России – он не русской; так же как я, не будучи французом, никак не могу постигнуть, каким образом просвещение преподается помощью штыков и пушек. Нет, господин барон! если мы и нуждаемся в профессорах, то, вероятно, не в тех, которых все достоинства состоят в личной храбрости, а познания – в умение скоро заряжать ружье и метко попадать в цель. Позвольте вам напомнить, что в этом отношении Россия не имеет причины никому завидовать и легко может доказать это на самом деле – даже и победителям полувселенной.

Дипломат улыбнулся и, не говоря ни слова, вынул из кармана брауншвейгскую бумажную табакерку с прекрасным пейзажем. Попотчевав табаком Рославлева, он сказал:

– Посмотрите, как хорошо делают нынче эти безделки. Какой правильный рисунок!.. Это вид Аустерлица.

– Да, – отвечал спокойно Рославлев, – я видел почти такую же табакерку; не помню хорошенько, кажется, с видом Прейсиш-Ейлау или Нови. Она еще лучше этой.

Господин барон смутился и, помолчав несколько времени, сказал:

– Как жаль, что под Нови ваш Суворов дрался не с Наполеоном. Это был бы один из лучших листков в лавровом венке нашего императора.

– Да, если б французы не были разбиты.

– Но неужели вы думаете, что это могло случиться, когда бы нашим войском командовал сам Наполеон?

– Извините! Я не думаю, а уверен в этом.

– *Bienheureux seux qui croient*²⁴ – пробормотал путешественник, подкладывая дров в потухающий камин.

Поэт улыбнулся, а хозяйка с сожалением посмотрела на Рославлева.

– Но мы отбились от нашей материи, – продолжал дипломат. – Вам кажется странным просвещение, распространяемое помощью оружия; согласитесь по крайней мере, что порядок, устройство и общепользные работы, которые гигантским своим объемом напоминают почти баснословные дела древних римлян, должны быть необходимым следствием твердой воли, неразлучной с силою. Для приведения в действие высоких предназначений, коих польза постигается только впоследствии, нужно всемогущество, которым обладает Наполеон; необходимы его бесчисленные войска... И если Россия желает подвинуться вперед...

– И, господин барон! – перервал с улыбкою Рославлев, – что вам за радость просвещать насильно нацию, которая одна, по своей силе и самобытности, может сделаться со временем счастливой соперницей Франции. Предоставьте это времени и собственному ее желанию –

²² величие (итал.)

²³ Фи, фи! кузен! (франц.)

²⁴ Блаженны верующие. (Прим. автора)

сравниться в просвещении с остальной частью Европы. Россия и без вашей насильственной помощи идет скорыми шагами к этой высокой цели всех народов. Поглядите вокруг себя! Скажите, произвели ли ваши предки в течение многих веков то, что создано у нас в одно столетие? Не походит ли на быструю перемену декораций вашей парижской оперы это появление великолепного Петербурга среди непроходимых болот и безлюдных пустынь севера?

– Да неужели вы думаете, сударь, что ваш Петербург может назваться европейским городом? И, полноте!.. В нем все начато, и ничто не кончено. Ваши широкие улицы походят на площади; ваши площади – на какие-то незастроенные пустопорожние места; ваши длинные, невысокие дома – на фабрики... Набережные у вас недурны; но чем можно назвать эти расписные деревянные мостики? Есть ли в Петербурге хоть одна порядочная церковь? Что такое ваша Казанская? Огромная куча материалов, под которою зарыты некоторые опрятно отделанные части, не выкупающие нимало всю нестройность и безобразие целого. О, будьте спокойны, господа русские! Если французы придут в Петербург, то, верно, не позавидуют вашему Казанскому собору, а увезут, может быть, с собой его гранитные колонны.

– Бога ради, барон! – сказала хозяйка, – не говорите этого при родственнике моем князе Радугине. Он без памяти от этой церкви, и знаете ли почему? Потому что в построении ее участвовали одни русские художники.

– О, это очень заметно! – подхватил путешественник.

– Князь Радугин! – повторил с приметной досадою дипломат. – Как жаль, княгиня, что вы родня этому фанатику, этому необразованному камчадалу, этому...

– Ах! что вы, *monsieur le baron*! Конечно, я не спорю – он моряк, его формы несколько странны, тон очень дурен, а бешеной патриотизм отменно смешон; но, несмотря на это, он, право, добрый и честный человек.

– Согласен, княгиня! Я не понимаю только, чего смотрит ваше правительство? Человек, который может заразить многих своим безумным и вредным фанатизмом, который не скрывает даже своей ненависти к французам, может ли быть терпим в русской столице?

– А в какой же, сударь? – спросил насмешливо Рославлев. – Уж не в французской ли?

– Нигде, сударь! нигде! Такие опасные люди не должны быть терпимы во всей Европе. Пусть они едут в Англию или Восточную Индию; пусть проповедывают там возмутительные свои правила; по крайней мере до тех пор, пока на берегах Темзы не развеваются еще знамена Франции.

– Не скоро же они уймутся говорить, – сказал Рославлев.

– Вы думаете? Нет, сударь, скоро наступит последний час владычеству этих морских разбойников; принятая всей Европою континентальная система не выполнялась до сих пор в России с той непреклонной настойчивостию, какую требуют пользы Франции и ваши собственные. Но теперь, когда вашему двору известна решительная воля императора, когда никакие дипломатические увертки не могут иметь места, когда нет середины и русские должны вступить в бой столь неравный или повиноваться...

– Повиноваться? – повторил Рославлев. – Вы забыли, сударь, что мы повинемся только законному государю нашему, а русской царь – одному богу и своей совести! Послушайте, барон! Вы, кажется, довольно и даже слишком откровенно говорили с русским дворянином; позвольте же и мне в мою очередь быть также откровенным. Скажите, для чего эти беспрестанные угрозы? этот невыносимый, повелительный тон? эта уверенность, с которой вы говорите о будущих победах ваших? Или вы не чувствуете, что, унижая все прочие нации, вы делаете вашу ненавистною для всех? Торжествуйте дома ваши победы, наслаждайтесь плодами их, будьте сильнейшей нацией в Европе; но бога ради! не душите всех вашей славой. Оскорбляя беспрестанно самолюбие других народов, вы заставите, наконец, их очнуться от их непонятного и позорного сна. К чему все то, что вы говорили о России? Если вы думаете застращать нас, то очень ошибаетесь, господин барон! Чувство, которое с некоторого времени сделалось

общим в России, – нет, сударь!.. это чувство не походит на страх. Мы некогда любили вас, как друзей; теперь начинаем ненавидеть, как злейших неприятелей. Поверьте, на обширных полях наших, усеянных костями литовцев и татар, найдется еще довольно места и для новых незваных гостей!.. Извините, барон! так думаю я, – так думают все русские!

– Вы очень красноречиво защищаете вашу национальную славу, – сказал с улыбкой дипломат. – Жаль только, что вы ошибаетесь в одном: выключая некоторых заносчивых патриотов, все русские любят нас точно так же, как любили прежде. Не спорю, может быть, правительство ваше... но народ, а особливо дворяне... О! в них мы совершенно уверены. Не правда ли? Вы по-прежнему предпочитаете наш язык вашему собственному, перенимаете все наши обычаи, одеваетесь по-нашему; словом, стараетесь во всем походить на нас. Признайтесь, что это презабавные доказательства национальной ненависти. Нет, сударь! добрые русские, несмотря ни на какие политические отношения, останутся всегда друзьями французов. Почтение, которое они показывают к нашему дипломатическому корпусу, их уважение даже к одному имени Франции, любовь к писателям нашим – все доказывает эту неоспоримую истину...

– Князь Димитрий Павлович Радугин! – сказал вошедший слуга.

– Мой зять! – вскричала хозяйка.

– Не принимайте этого готтентота, – шепнул дипломат. – Ах, боже мой! – продолжал он, отодвигая свои кресла от дивана, – какая тоска! вот он!

Двери настежь растворились, и мужчина высокого роста, лет пятидесяти, в морском вицмундире и с Георгиевским крестом в петлице, вошел в комнату.

– Здравствуй, сестра! – сказал он. – Здорово, Рославлев! *Bonjour, messieurs!*²⁵

– Здравствуйте, князь! – проговорила тихим голосом и по-русски хозяйка дома. – Я сегодня очень нездорова: ужасно болит голова; и если вы, по вашему обыкновению, станете кричать...

– Не беспокойся! – перервал князь Радугин, садясь на диван. – Я заехал к тебе на минуту, рассказать одну презабавную историю, и очень рад, что застал у тебя этих господ. Так и быть!.. Дурно ли, хорошо ли, а расскажу этот анекдот по-французски: пускай и они посмеются вместе со мною... *Ecoutez, messieurs!*²⁶ – примолвил Радугин по-французски. – Хотите ли, я вам расскажу презабавную новость?

– Мы вас слушаем, князь! – отвечал с вежливой улыбкою дипломат.

Вояжер перестал также раздувать огонь в камине и придвинулся к дивану.

– Вот, господа! с час тому назад, – продолжал князь Радугин, – в Большой Морской повстречались две кареты, в одной из них сидел ваш посланник, а в другой какой-то гвардейской прапорщик, разумеется малой молодой. По неосторожности кучеров колесо одной кареты зацепилось за колесо другой; к счастью, оба кучера успели остановить лошадей. Вот его превосходительство обиделся, зашумел, закричал; офицер стал извиняться; но посланник не хотел слышать никаких извинений и поднял такой штурм, как будто б дело шло о чести всей Франции. Между тем кругом карет столпилось сотни две зевак. Лакеи суежились вокруг экипажей; но, несмотря на помощь проходящих, не могли никак их расцепить. Офицер высунулся в окно и, продолжая извиняться, сказал его превосходительству, что должно непременно подвинуть назад его карету. «Французы никогда не двигаются назад!» – отвечал гордо посланник. «И русские также!» – возразил офицер. – Пошел!» Кучер ударил по лошадям, они рванулись... крак! – у посланника одного колеса как не бывало. Офицерская карета помчалась вдоль улицы, и весь народ закричал: «Славно! ай да молодец!»

²⁵ Здравствуйте, господа! (*франц.*)

²⁶ Послушайте, господа! (*франц.*)

- Quelle horreur!²⁷ – вскричала Радугина.
- Quelle audace!²⁸ – воскликнул дипломат.
- Ça n'a pas de nom!²⁹ – прибавил путешественник.

Глаза Рославлева заблестали удовольствием, а бедной поэт испугался, побледнел и, казалось, готов был закричать: «Ей-богу! я незнаком с этим офицером!»

– А что всего любопытнее, – продолжал Радугин, – так это то, что, по рассказам, громче всех кричали: «Ай да молодец! спасибо ему!» – как вы думаете, кто? Мужики? Нет, сударь! порядочные и очень порядочные люди!

– Быть не может! – сказал дипломат. – Такая дерзость!..

– Дерзость или нет, этого мы не знаем; дело только в том, что карета, я думаю, лежит и теперь еще на боку!

– Но не ушибся ли господин посланник? – спросил торопливо путешественник.

– Нет, граф! Говорят, что он поизмывал только свою прическу à la Titus³⁰ и разбил себе нос.

– Поедьте скорей узнать, справедливо ли это? – сказал путешественнику испуганный дипломат. – О, если это правда, то должно примерно наказать, надобно потребовать une réparation éclatante!³¹ Честь Франции... честь нашего императора!.. Едьте, граф! едьте!

– Как вы думаете, – спросила хозяйка на русском языке князя Радугина, – не послать ли и мне? не ехать ли самой?..

– А что ты думаешь, сестра? Конечно! ты молодая вдова, русская барыня, он француз, любезен, человек не старый; в самом деле, это очень будет прилично. Ступай, матушка, ступай!..

– Но точно ли это правда?

– Дай-то, господи! молебен бы отслужил.

– От кого вы слышали?

– Вот то-то и беда! мне рассказывал об этом один всесветный лгун. Да бог милостив, быть может, на этот раз он сказал и правду.

Французы, спеша узнать о здоровье своего посла, откланялись хозяйке. Рославлев воспользовался этим случаем, чтоб распрощаться также с своей кузиною; обнял дружески князя Радугина и отправился домой.

Глава IV

Вдали, сквозь утренний туман, сверкали верхи позлащенных спицов адмиралтейства и высокой колокольни Петропавловского собора; но солнце еще не показалось из-за частой сосновой рощи, и густая тень лежала на кровле двухэтажного дома старинной архитектуры, в котором помещался трактир, известный под названием «Руки» или «Средней рогатки». Все было тихо на большой Московской дороге, скучной и единообразной в сравнении с другими окрестностями Петербурга. Вдруг послышался вдали звонкой валдайской колокольчик; он умолкал на минуту и раздавался опять: то тише, то громче; частил, перебивал, заливался и снова переставал звенеть. Вдоль дороги от Петербурга, расстилая направо и налево густые облака пыли, неслась на лихой шестерне почтовых открытая коляска, за которою едва успевали скакать дрожки, запряженные щегольской парой разношерстных лошадей. Коляска остановилась у дверей трактира; из нее выпрыгнул, Рославлев в дорожном платье и фуражке, а вслед за ним стал вылезать,

²⁷ Какой ужас! (франц.)

²⁸ Какая дерзость! (франц.)

²⁹ Этому нет названия! (франц.)

³⁰ в стиле Титуса (франц.)

³¹ примерного удовлетворения! (франц.)

зевая и потягиваясь, Зарецкой, закутанный в гороховую шинель с пятью или шестью воротниками. Слуга побежал будить трактирщика, а наши приятели сели на скамью, подле дверей.

– Ну, mon cher! – сказал Зарецкой, – теперь, надеюсь, ты не можешь усомниться в моей дружбе. Я лег спать во втором часу и встал в четвертом для того, чтоб проводить тебя до «Средней рогатки», до которой мы, я думаю, часа два ехали. С чего взяли, что этот скверный трактир на восьмой версте от Петербурга? Уж я дремал, дремал! Ну, право, мы верст двадцать отъехали. Ах, батюшки! как я исковеркан!

– Скажи, пожалуйста, Александр, – спросил Рославлев, – давно ли ты сделался такой неженкой? Когда мы служили с тобой вместе, ты не знал устал и готов был по целым суткам не сходить с коня.

– Тогда я носил мундир, mon cher! А теперь во фраке хочу посибаритничать. Однако ж знаешь ли, мой друг? Хотя я не очень скучаю теперешним моим положением, а все-таки мне было веселее, когда я служил. Почему знать? Может быть, скоро понадобятся офицеры; стоит нам поссориться с французами... Признаюсь, люблю я этот милый веселый народ; что и говорить, славная нация! А как подумаешь, так надобно с ними порезаться: зазнались, разбойники! Послушай, Вольдемар: если у нас будет война, я пойду опять в гусары.

– И я также, – сказал Рославлев.

– Давай руку! Что в самом деле! служить, так служить вместе; а когда кампания кончится и мы опять поладим с французами, так знаешь ли что?.. Качнем в Париж! То-то бы пожили и повеселились! Эх, милый! что ни говори, а ведь у нас, право, скучно!

– Я этого не вижу.

– Да полно, mon cher! что за патриотизм, когда дело идет о веселье? Я не менее твоего люблю наше отечество и готов за него драться до последней капли крови, а если заберет зевота, так прошу не погневаться, не останусь ни в Москве, ни в Петербурге, а махну прямехонько в Париж, и даже с условием: не просыпаться ни раза дорогою, а особливо проезжая через ученую Германию.

– Нет, мой друг! Если ты узнаешь скуку, то не расстанешься с нею и в Париже. Когда мы кружимся в вечном чаду, живем без всякой цели; когда чувствуем в душе нашей какую-то несносную пустоту...

– Ах, виноват, мой друг! Я ведь и забыл, что душа твоя полна любви; а в той стране, где живет наша любезная, разумеется, круглый год цветут розы и воздух дышит ароматом. Но, кстати, я и не подумал, как же ты сдержишь свое слово и пойдешь опять в гусары? Если ты успеешь обвенчаться, так жена за тебя уцепится; если будешь женихом, то сам не захочешь покинуть своей невесты. Вот я – так вольный казак: что хочу, то и делаю. У меня точно так же, как у тебя, нет ни отца, ни матери; старая моя тетушка, верно, не будет меня удерживать. Правда, у меня есть и кузины, в пятом или шестом колене; но клянусь тебе честью, я люблю их всех, как родных сестер, – так они больно плакать обо мне не станут. Однако ж послушай, Вольдемар: если уж мы об этом заговорили, так Расскажи-ка мне: как ты влюбился и что такое эта проклятая любовь, от которой умные люди сходят с ума, а дураки иногда становятся умнее?

– Ты знаешь, Александр, что я все прошлое лето жил в деревне, верстах в пятидесяти от Москвы. Около середины лета приехала в мое соседство богатая вдова Лидина, с двумя дочерьми; она только что воротилась из Парижа и должна была, для приведения в порядок дел своих, прожить несколько лет в деревне. Я был уже давно знаком с городничим нашего уездного города, майором Ильменевым. Как образчик некоторых закоренелых невежд прошедшего поколения, этот Ильменев мог бы занять не последнее место в комедии «Недоросль», если б в числе первых комических лиц этой пьесы были люди добрые, честные и забавные только своим невежеством. Он познакомил меня с родным братом Лидиной, Николаем Степановичем Ижорским, также изрядным чудаком, который на другой же день отрекомендовал меня своей

сестре. Ты можешь себе представить, как я обрадовался, найдя в моих соседках милых, любезных и просвещенных женщин.

– Да, мой друг, в провинции ты мог себя поздравить с этой находкою.

– Маменька имеет свою смешную сторону, но дочери...

– Что и говорить – прелесть, совершенство!.. А которое из этих двух совершенств свело тебя с ума?

– Оленька, меньшая сестра, понравилась мне с первого раза более старшей сестры своей, Полины.

– С первого раза? Следовательно, ты влюблен в старшую? Да что ж тебе сначала в ней понравилось? Что, она блондинка или брюнетка?

– У обеих сестер голубые глаза; они обе прекрасны и даже очень походят друг на друга; но, несмотря на это... право, не знаю, как тебе объяснить различие, перед которым исчезает совершенно это наружное сходство. Оленька добра, простодушна, приветлива, почти всегда весела; стыдлива и скромна, как застенчивое дитя; а рассудительна и благоразумна, как опытная женщина; но при всех этих достоинствах никакой поэт не назвал бы ее существом небесным; она просто – прелестный *земной* цветок, украшение *здешнего* мира. Но сестра ее... ах! какое неземное чувство горит в ее вечно томных, унылых взорах; все, что сближает землю с небесами, все высокое, прекрасное доступно до этой чистой, пламенной души! Оленька, с согласия своей матери, выйдет замуж, сделается доброй, нежной матерью; но никогда не будет уметь любить, как Полина! В несколько дней нашего знакомства я стал почти домашним человеком у Лидиной. Оленька перестала меня дичиться; не прошло двух недель, и она бегала уже со мной по саду, гуляла по полям, по роще; одним словом, обращалась, как с родным братом. С детской откровенностью милого ребенка она высказывала мне все, что приходило ей в голову, и часто удивляла меня своим незатейливым, но ясным и верным понятием о свете. С Полиною я не скоро познакомился. Сначала мне казалось даже, что она убегает всех случаев быть вместе со мною; наконец мало-помалу мы сблизились, и только тогда, когда я узнал всю красоту души этого воплощенного ангела, я понял причину ее задумчивости и всегдашнего уныния. Да, мой друг! Полина слишком совершенна для *здешнего* мира! Ее живое, цветущее воображение облакает все в какую-то неземную одежду. Однажды я читал обеим сестрам только что вышедший роман: «Матильда, или Крестовые походы». Когда мы дошли до того места, где враг всех христиан, враг отечества Матильды, неверный мусульманин Малек-Адель умирает на руках ее, – добрая Оленька, обливаясь слезами, сказала: «Бедняжка! зачем она полюбила этого турка! Ведь он не мог быть ее мужем!» Но Полина не плакала, – нет, на лице ее сияла радость! Казалось, она завидовала жребию Матильды и разделяла вместе с ней эту злосчастную, бескорыстную любовь, в которой не было ничего земного.

– Воля твоя, Вольдемар! – перервал Зарецкой, покачивая головою, – это что-то уж больно хитро! Как же ты, не будучи ни врагом ее, ни татаринном, успел ей понравиться и решился изъясниться в любви?

– Я долго колебался, и хотя замечал, что частые мои посещения были вовсе не противны Лидиной, но, не смея сам предложить мою руку ее дочери, решился одним утром открыться во всем Оленьке; я сказал ей, что все мое счастье зависит от нее. Как теперь гляжу: она испугалась, побледнела; но когда услышала, что я влюблен в Полину, то лицо ее покрылось живым румянцем, глаза заблестали радостью. «Боже мой! Боже мой! – вскричала она, – вы хотите жениться на Полине? Как я рада!.. Вы будете моим братом!.. Не правда ли? Вы станете называть меня сестрою? О! теперь я никогда не выйду замуж! Нет, я вечно буду жить вместе с вами! Ах, боже мой, как я рада!» Добрая Оленька и плакала и улыбалась в одно время. Слезы градом катились из глаз ее; но, казалось, в эту минуту она была так счастлива!.. Весь этот день я провел в ужасной неизвестности. Полина не выходила из своей комнаты, а Оленька приметным

образом старалась не оставаться со мною наедине. Другой день прошел точно так же; наконец, на третий...

– Слава богу! – вскричал Зарецкой. – Ну, мой друг! терпелив ты!

– На третий день, поутру, – продолжал Рославлев, – Оленька сказала мне, что я не противен ее сестре, но что она не отдаст мне своей руки до тех пор, пока не уверится, что может составить мое счастье, и требует в доказательство любви моей, чтоб я целый год не говорил ни слова об этом ее матери и ей самой.

– Целый год! И ты, рыцарь Амадис, на это согласился?

– Ах, мой друг! я согласился бы на все! Одна надежда назвать ее когда-нибудь моею – была уже для меня неизъяснимым счастьем. В первые три месяца моего испытания соседство наше умножилось приездом отставного полковника Сурского, которого небольшая деревенька была в двух верстах от моего села. Я скоро подружился с этим почтенным человеком, умевшим соединить в себе откровенность прямодушного воина с умом истинно просвещенным и обширными познаниями. Дружба его была для меня одной отрадою; я говорил с ним о Полине, и хотя он часто покачивал головою и называл ее мечтательницею, но, несмотря на это, полюбил всей душою, однако же гораздо менее, чем Оленьку, которая меж тем употребляла все, чтоб сократить время моего испытания. Наконец, просьбы ее и красноречие друга моего Сурского победили упорство Полины. Три недели тому назад я назвал ее моею невестою, и когда через несколько дней после этого, отправляясь для окончания необходимых дел в Петербург, я стал прощаться с нею, когда в первый раз она позволила мне прижать ее к моему сердцу и кротким, очаровательным своим голосом шепнула мне: «Приезжай скорей назад, мой друг!» – тогда, о! тогда все мои трехмесячные страдания, все ночи, проведенные без сна, в тоске, в мучительной неизвестности, – все изгладилось в одно мгновение из моей памяти!.. Ах, Александр! Если б ты любил когда-нибудь, если б ты знал, что такое *мой друг!* в устах обожаемой женщины, если б ты мог понять, какой мир блаженства заключают в себе эти два простые слова...

– Тьфу, черт возьми! – перервал Зарецкой, – так этот-то бред называется любовью? Ну! подлинно есть от чего сойти с ума! *Мой друг!* Да как же прикажешь ей тебя называть? Мусью Рославлев, что ль?

– Перестань, братец! Твоя душа настоящий ледник.

– Но только не для дружбы, Вольдемар! Я от всей души радуюсь твоему благополучию; надеюсь, Ты будешь счастлив с Полиною; но мне кажется, я больше бы порадовался, если б ты женился на Оленьке.

– Почему же, мой друг?

– Вот изволишь видеть: твоя Полина слишком... как бы тебе сказать?.. слишком... небесна, а я слышал, что эти неземные девушки редко делают своих мужей счастливыми. Мы все люди как люди, а им подавай идеал. Пока ты еще жених и страстный любовник...

– Я буду им вечно!

– Так, mon cher! так! Но теперь ты у ног ее; теперь, нет сомнения, и твой образ облачают в одежду неземную; а как потом ты облечешься сам в халат да закуришь трубку... Ох, милый! что ни говори, а муж – плохой идеал!

– Полно, Зарецкой! Ты судишь обо всем по собственным своим чувствам.

– Конечно, мой друг! тебе все-таки приличнее быть ее мужем, чем всякому другому; ты бледен, задумчив, в глазах твоих есть также что-то туманное, неземное. Вот я, с моей румяной и веселой рожей, вовсе бы для нее не годился. Но, кажется, за нами пришли? Что? Завтрак готов?

– Готов, сударь! – отвечал трактирный слуга, протирая свои заспанные глаза.

– Пойдем, Рославлев. Мы досыта наговорились о небесном, займемся-ка теперь земным. Позавтракав и выпив бутылку шампанского, наши друзья простились.

– Ну! – сказал Зарецкой, садясь на свои дрожки, – то-то дам тебе высыпку! Прощай, mon cher! Ванька! до самой заставы во всю рысь! Adieu, cher ami!³² Дай бог тебе счастья, а, право, жаль, что ты женишься не на Оленьке!.. Пошел!

Когда Рославлев стал садиться в коляску, мимо его, по дороге к Царскому Селу, промчались двое дрожек, запряженных парами. Ему показалось, что на одних сидел француз, с которым накануне он обедал в ресторации. Извозчик, оправив сбрую, взлез на козлы, присвистнул, махнул кнутом, колокольчик зазвенел, и по обеим сторонам дороги замелькали высокие сосны и зеленые поля; изредка показывались среди деревьев скромные дачи, выстроенные в довольном расстоянии одна от другой, по этой дороге, нимало не похожей на Петергофскую, которая представляет почти непрерывный и великолепный ряд загородных домов, пленяющих своей красотой и разнообразием. Через несколько минут коляска поднялась на Пулковскую гору, и вскоре за обширным зверинцем покраснелся вдали колоссальный дворец Царского Села, некогда удивлявший путешественников своей позлащенной кровлею и азиатским великолепием. Подъезжая к зверинцу, одна из лошадей переступила постромку, начала бить; другие лошади также испугались и понесли вдоль дороги. После многих бесполезных усилий извозчику удалось наконец при помощи Рославлева остановить лошадей. Коляска уцелела, но большая часть веревочной сбруи изорвалась, и надобно было по крайней мере с полчаса времени для приведения в порядок упряжи. Рославлев, оставя при коляске своего слугу, пошел пешком по дорожке, пробитой вдоль стены зверинца. Он заметил в одном месте небольшой пролом, от которого узенькая тропинка, извиваясь, вела в глубину леса. Желая погулять несколько времени в тени деревьев, Рославлев пустился по тропинке. Не прошло пяти минут, как вдруг ему послышались близкие голоса; он сделал еще несколько шагов, и подле него за кустом погромел отрывистый вопрос: «Ну, что?.. Хорошо ли?» – «Нет, братец!» – отвечал кто-то голосом не вовсе ему не знакомым. «Что это за барьер? Еще на три шага ближе!» Рославлев поразодвинул сучья густого куста, который скрывал от него говорящих, и увидел на небольшой поляне четырех человек. Двое были ему совершенно незнакомы; а в остальных он тотчас узнал молчаливого офицера и француза, с которым обедал накануне в рублевом трактире. Не трудно было отгадать, для чего эти господа приехали так рано в зверинец. Повинуясь первому движению, Рославлев сделал шаг назад: но какое-то непреодолимое любопытство победило это человеческое чувство. С сильно бьющимся сердцем, едва переводя дух, он притаился за кустом и остался невидимым свидетелем кровавой сцены, которая должна была оправдать слова, сказанные им накануне, – о ненависти русских к французам.

– Ну, кончил ли ты? – закричал молчаливый офицер своему товарищу, который вколачивал в землю две палки, в двух шагах одна от другой.

– Кончил! – отвечал молодой человек высокого роста, в военном сюртуке и кавалерийской фуражке. – Только, воля твоя, по-моему, лучше стреляться на плаще. Два шага!.. по крайней мере надобно четыре.

– Эх, полно, братец! что за ребячество. На, возьми, подсыпь на полку.

– Позвольте спросить, – сказал секундانت француза, человек средних лет, который, судя по выговору, был также иностранец. – Я желал бы знать по крайней мере причину вашей дуэли.

– А на что вам это? – спросил офицер, подавая своему товарищу другой пистолет. – Приколоти покрепче пулю, братец! Да обей кремь: я осечек не люблю.

– Мне кажется, – возразил иностранец, – что я, будучи секундантом, имею полное право знать...

– За что мы деремся?.. – перервал офицер. – Да так, мне надоела физиономия вашего приятеля. Отмеривай пять шагов, – продолжал он, обращаясь к кавалеристу, – Не угодно ли и вам потрудиться?

³² Прощай, дорогой друг (франц.)

– Но, милостивый государь! мне кажется, что если вы не имеете другой причины...

– Имею, сударь! Ваш приятель – француз. Прошу отмеривать пять шагов.

– Еще одно слово, господин офицер. Мне кажется...

– А долго ли, сударь, вам будет казаться? Я вижу, вы любите болтать; а я не люблю, и мне некогда. Извольте становиться! – прибавил он громовым голосом, обращаясь к французу, который молчал в продолжение всего разговора.

– В самом деле! – вскричал кавалерист, – что за болтовня! Драться так драться. Вот твое место, братец. Смотри целься хорошенько; да не торопись стрелять.

Оба противника отошли по пяти шагов от барьера и, повернясь в одно время, стали медленно подходить друг к другу. На втором шагу француз спустил курок – пуля свистнула, и пробитая навылет фуражка слетела с головы офицера.

– Черт возьми! этот француз метит хорошо! – сказал сквозь зубы кавалерист. – Смотри, брат, не промахнись!

Раздался второй выстрел, и вмиг вся левая рука француза облилась кровью.

– Эх, братец! – сказал кавалерист, – немножко бы полее. Я говорил тебе взять мои пистолеты. Какая, черт, стрельба без шинелера!³³

Прошло еще несколько секунд; сердце Рославлева почти перестало биться. Расстояние между поединщиками становилось все менее; вот уже оставалось не более шести или семи шагов... вдруг раздался третий выстрел.

– Ты ранен? – вскричал кавалерист.

– Нет, – отвечал офицер, взглянув хладнокровно на правое плечо свое, с которого пулею сорвало эполет. – Теперь милости прошу сюда к барьеру! – продолжал он, устремив свой неподвижный взор на француза.

– Je suis mort!³⁴ – промолвил вполголоса раненый.

– Боже мой! он истекает кровью! – сказал его секундант, вынимая белый платок из кармана.

– Не трудитесь! – перервал офицер, – он доживет еще до последнего моего выстрела. Ну, что ж, сударь? Да подходите смелее! ведь я не стану стрелять, пока вы не будете у самого барьера.

– Господин офицер! – вскричал иностранец. – Подумайте! в двух шагах! Это все равно...

– Если б я приставил ему мой пистолет ко лбу? Разумеется. Еще один шаг, господин кавалер Почетного легиона! Прошу покорно!

– Eh bien! soit!³⁵ – сказал француз, бросив в сторону свой пистолет. Он подошел, шатаясь, к барьеру и, сложив крест-накрест руки, стал прямо грудью против своего соперника. Кровь ручьем текла из его раны; смертная бледность покрывала лицо; но он смело смотрел в глаза офицеру, и только едва заметная судорожная дрожь пробегала от времени до времени по всем его членам. Офицер прицелился, – конец его пистолета почти упирался в лоб француза. Вся кровь застыла в жилах Рославлева. Он хотел закричать; но ужас оковал язык его. Меж тем офицер спустил курок, на полке вспыхнуло, но пистолет не выстрелил.

– Ты жив еще, мой друг! – вскричал секундант француза.

– Ненадолго! – примолвил хладнокровно офицер. – Подсыпь на полку, братец!

– Ради самого бога! – сказал отчаянным голосом иностранец, – пощадите этого несчастного!.. У него жена и шестеро детей!

Вместо ответа офицер улыбнулся и, взглянув спокойно на бледное лицо своей жертвы, устремил глаза свои в другую сторону. Ах! если б они пылали бешенством, то несчастный мог

³³ приспособления к спусковому механизму (нем.)

³⁴ Я погиб (франц.)

³⁵ Хорошо! Пусть будет так! (франц.)

бы еще надеяться, – и тигр имеет минуты милосердия; но этот бесчувственный, неумолимый взор, выражающий одно мертвое равнодушие, не обещал никакой пощады.

– Господин офицер! – продолжал иностранец, – если жалость вам неизвестна, то подумайте, по крайней мере, что вы хотите отправлять в эту минуту должность палача.

– Да, я желал бы быть палачом, чтоб отсечь одним ударом голову всей вашей нации. Посторонитесь!

– Одно слово, сударь, – прошептал едва слышным голосом раненый. – Прощай, мой друг! – продолжал он, обращаясь к своему секунданту. – Не забудь рассказать всем, что я умер как храбрый и благородный француз; скажи ей... – Он не мог закончить и упал без чувств в объятия своего друга.

– Жаль! – сказал кавалерист, – он не трус! И признаюсь, если б я был на твоём месте...

– И полно, братец! Все-таки одним меньше. Теперь, кажется, осечки не будет, – прибавил офицер, взглянув на полку пистолета. Он взвел курок...

– Остановитесь! – вскричал Рославлев, выбежав из-за куста и заслонив собою француза. – Это ужасно! Это не поединок, а смертоубийство!

– Кто вы? – спросил офицер, опустив свой пистолет.

– Такой же русской, как вы.

– В самом деле? Что ж вам здесь надобно?

– Спасти этого несчастного отца семейства!

– Право? То есть вам угодно стать на его место?

– Да! – вскричал Рославлев. – И если вы хотите быть чьим-нибудь убийцею...

– Хочу, сударь! Но прежде мне надобно кончить с этим кавалером Почетного легиона!

– Стыдитесь, господин офицер! Разве вы не видите? он без чувств!

– Но жив еще. Позвольте!..

– Нет! – сказал Рославлев, взглянув с ужасом на офицера, – вы не человек, а демон! Возьмите отсюда вашего приятеля, – продолжал он, относясь к иностранцу, – и оставьте мне его пистолеты. А вы, сударь! вы бесчеловечием вашим срамите наше отечество – и я, от имени всех русских, требую от вас удовлетворения.

– О, если вы непременно хотите... Помогите ему, братец, дотащить до дрожек этого храбреца. А с вами, сударь, мы сейчас разделаемся. Русской, который заступает за француза, ничем его не лучше. Вот порох и пули. Потрудитесь зарядить ваши пистолеты.

Иностранец перевязал наскоро руку своего товарища и при помощи кавалериста понес его вон из леса. Меж тем, пока Рославлев заряжал оставленные французом пистолеты, офицер не спускал с него глаз.

– Не обедали ли вы вчера в ресторации у Френзеля? – спросил он наконец.

– Да, сударь! Но к чему это?..

– Не трудитесь заряжать ваши пистолеты – я не дерусь с вами.

– Не деретесь?..

– Да. Это было бы слишком нерасчетливо: оставить живым француза, а убить, может быть, русского. Вчера я слышал ваш разговор с этим самохвалом: вы не полуфранцуз, а русской в душе. Вы только чересчур чувствительны; да это пройдет.

– Нет, сударь, права человечества будут для меня всегда священны!

– Даже и тогда, когда эта нация хвастунов и нахалов зальет кровью наше отечество? Не думаете ли вы заслужить их уважение, поступая с ними, как с людьми? Не беспокойтесь! они покроют пеплом всю Россию и станут хвастаться своим великодушием; а если мы придем во Францию и будем вести себя смирнее, чем собственные их войска, то они и тогда не перестанут называть нас варварами. Неблагодарные! чем платили они до сих пор за нашу ласку и хлебосольство? – продолжал офицер, и глаза его в первый раз еще заблистали каким-то нечеловеческим огнем. – Прочтите, что пишут и печатают у них о России; как насмеваются они над нашим

простодушием: доброту называют невежеством, гостеприимство – чванством. С каким адским искусством превращают все добродетели наши в пороки. Прочтите все это, подслушайте их разговоры – и если вы не поймете и тогда моей ненависти к этим европейским разбойникам, то вы не русской! Но что я говорю? Вы так же их ненавидите, как я, и, может быть, скоро придет время, что и для вас будет наслаждением зарезать из своих рук хотя одного француза. Прощайте!

Офицер приподнял свою фуражку и пошел скорыми шагами по тропинке, которая шла к противуположной стороне зверинца.

С невольным трепетом смотрел Рославлев вслед за уходящим офицером. Все, что ненависть имеет в себе ужасного, показалось бы добротой в сравнении с той адской злобой, которая пылала в глазах его, одушевляла все черты лица, выражалась в самом голосе в то время, как он говорил о французах. Рославлев вышел из леса и догнал свою коляску, которая ехала шагом вдоль зверинца. «Боже мой! – думал он в то время, как отдохнувшие лошади мчали его по большой Московской дороге, – до какой степени может ожесточиться сердце человеческое! И как виновен тот, чье властолюбие сделало предметом всеобщей ненависти нацию, столь благородную и некогда столь любимую всеми просвещенными народами Европы». Не скоро прояснилось в душе его, потрясенной ужасной сценою, которой он был свидетелем; но, наконец, образ Полины, надежда скорого свидания и усадительная мысль, что с каждым шагом уменьшается пространство, их разделяющее, рассеяли грусть его, и будущее предстало пред ним во всем очаровательном своем блеске – обманчивом и ложном, но необходимом для нас, жалких детей земли, почти всегда обманутых надеждою и всегда готовых снова надеяться.

Глава V

На дворе было пасмурно. Крупные дождевые капли стучали в окна почтового двора села Завидова, в котором Рославлев уже более двух часов дожидался перемены лошадей. Все проезжающие вообще не любят сидеть долго на станциях; но для влюбленного жениха, который спешит увидеться с своей невестою, всякая остановка есть истинно наказание небесное. Ничто не может сравниться с этой пыткой: он нигде не найдет места, горит как на огне; ему везде тесно, везде душно: ему кажется, что каждая пролетевшая минута уносит с собою целый век блаженства, что он состареется в два часа, не доживет до конца своего путешествия. Одним словом, несмотря ни на какую погоду, он пустился бы пешком, если бы рассудок не говорил ему, что этим он не поможет своему горю, а только отдалит минуту свидания. Пересмотрев давным-давно прибитые по стенам почтового двора – и Шемякин суд, и Илью Муромца, и взятие Очакова, прочитав в десятый раз на знаменитой картине «Погребение Кота» красноречивую надпись: *»Кот Казанской, породы Астраханской, имел разум Сибирской«*, – Рославлев в сотый раз спросил у смотрителя в изорванном мундирном сюртуке и запачканном галстуке, скоро ли дадут ему лошадей, и хладнокровный смотритель повторил также в сотый раз свое невыносимое: «Все, сударь, в разгоне; извольте подождать!»

- Да нельзя ли найти вольных?
- Я уж вам докладывал, что нельзя: пора рабочая.
- Я заплачу вдвое, если надобно, – только бога ради...
- И рад бы радостью, сударь! Да что ж делать? На нет и суда нет! Не прикажете ли чаю?
- Далеко ли отсюда до Москвы?
- Сто три версты с половиною. А чай знатный, сударь! цветочный, самый лучший.
- Сто три версты! А там еще семьдесят! Какая досада! Я мог бы завтра поутру...
- У меня, сударь, есть и московские калачи, а если угодно, так и крендели.
- Что за станция! В этом Завидове вечно нет лошадей!

– Что ж делать, ваше благородие! Ведь здесь не ям, а разгон большой. Прикажете поставить самовар?

– Ну, хорошо, братец! Говорят, что у нас почта хороша. Боже мой! Да не приведи господи никакому христианину ездить на почтовых! Что это?... едешь, едешь...

– А давно ли вы, сударь, из Питера?... – спросил смотритель, приказав своей жене готовить чай.

– Стыдно сказать – третий день! И это называют почтою!

– То есть – с лишком по двести верст в сутки? – сказал смотритель, рассчитав по пальцам. – Что ж, сударь? Это езда не плохая. Зимой можно ехать и скорее, а теперь дело веселее... Чу! колокольчик! и кажется, от Москвы!.. четверкою бричка...

– Ах, сделай милость, любезный! я дам тебе, что хочешь, на водку...

– Постойте, сударь!.. никак на вольных!.. Нет! с той станции! Ну, вот вам, сударь, и попутчики! Счастлив этот проезжий! ваши лошади, чай, уж отдохнули, так ему задержки не будет.

– Вели же скорей закладывать мою коляску.

– Нельзя, сударь! надобно выкормить лошадей, надобно их напоить; надобно, чтоб они выстоялись, надобно...

– Надобно, чтоб я ехал! Послушай, я заплачу двойные прогоны!

– Нет, сударь, ямщик ни за что не поедет. Вот этак часика через полтора... Эх, сударь! кони знатные – мигом доставят на станцию; а вы меж тем чайку накушайте.

Проезжий не вышел из своей брички и через несколько минут отправился на лошадях, которые привезли Рославлева. С полчаса еще наш влюбленный путешественник ходил молча взад и вперед по избе; потом от нечего делать напился чаю; и наконец, отворив окно, сел возле него, чтобы видеть, когда станут закладывать его коляску. На завалине перед избою сидел старик лет шестидесяти; он чертил по земле своим подошком и слушал разговоры ямщиков, которые, собравшись в кружок, болтали всякую всячину, не замечая, что проезжий барин может слышать все их слова.

– Что ты, брат Андрюха, так насупился? – спросил один ямщик, в сером армяке, молодого детину в синем кафтане и красном кушаке, – аль жена побила?

– Добро бы жена, – отвечал детина, – а то черт знает кто – нелегкая бы его взяла, проклятого!

– Ой ли! так тебя, брат, поколотили! Уж не почтальон ли, что ты вчера возил?

– Эх, Ваня! кабы почтальон, так куда б ни шло; а то какой-то проезжий барин – пострел бы его побрал!

– Чай, стал погонять, а ты не слушался?

– Вестимо. Вот нынче ночью я повез на тройке, в Подсолнечное, какого-то барина; не успел еще за околицу выехать, а он и ну понукать; так, знашь ты, кричма и кричит, как за язык повешенный. Пошел, да пошел! «Как-ста не так, – подумал я про себя, – вишь, какой прыткой! Нет, барин, погоди! Животы-та не твои, как их поморишь, так и почты не на чем справлять будет». Он ну кричать громче, а я ну ехать тише!

– Вот то-то же! Вишь ты, сам какой задорный, Андрюха!

– Да, слышь ты, глупая голова! Ведь за морем извозчики и все так делают; мне уж третьего дня об этом порассказали. Ну, вот мы отъехали этак верст пяток с небольшим, как вдруг – батюшки светы! мой седок как подымется да учнет ругаться: я, дескать, на тебя, разбойника, смотрителю пожалуюсь. «Эк-ста чем угрозил! – сказал я. – Нет, барин, смотрителем нас не испугаешь». Я ему, ребята, на прошлой неделе снес гуся да полсотни яиц.

– Умен ты, брат Андрюха! Ну что ж твой седок?

– Осерчал пуще прежнего. Ну меня позорить; а я себе и в ус не дую – еду себе шажком да посвистываю. Вот он приподнялся, да и толк меня в загорбок; я обернулся, поглядел: мужичонка небольшой, и слуги с ним нет, – как не дать отпора? «Слушай, барин, – сказал я, – драться

не велено; у меня смотри, я и сам кнутом перепояшу». Лишь только я это вымолвил, как он одной рукой хватать меня за ворот, прыгнул к себе, да и ну лудить по становой жиле. Я было побарахтаться – куды-те! Ах ты, господи боже мой! взглянуть не на что, а какой здоровенный! Уж он меня возил, возил! Черт бы его побрал! Инда и теперь вздохнуть тяжело!

– Вот то-то, Андрюша! – сказал старый крестьянин, – зачем озорничать! Ведь наше дело таковское – за всяким тычком не угоняешься. А уж если пришла охота подраться, так дрался бы с своим братом: скулы-то равные, – а то еще схватился с барином!..

– Да, с барином! Недолго этим барам-то над нами ломаться.

– А что так? – спросил извозчик в армяке.

– Да так-ста. Мы знаем, что знаем.

– А что ты знаешь, Андрюха? Расскажи, брат.

– Да, расскажи! А как дойдет до исправника...

– И полно! кому вынести? Небось, рассказывай!..

– Ну то-то же! смотрите, ребята! – сказал детина, обращаясь к другим извозчикам, – чур, держать про себя. Вот, третьего дня, повез я под вечер проезжего – знаешь ты, какой-то не русской, не то француз, не то немец – леший его знает, а по нашему-то бает; и такой добрый, двугривенный дал на водку. Вот дорогой мы с ним поразговорились. «Что, дескать, брат! – спросил он, – чай, житье ваше плохое?» Ну, вестимо, не сказать же, что хорошо. «Да, барин, – молвил я, – под иной час тяжело бывает; кони дороги, кормы также, разгон большой, а на прогонах далеко не уедешь; там, глядишь, смотритель придерется, к исправнику попадешь в лапы – какое житье? Вот кабы еще проезжие-та, как ваша милость, не понукали; а то наши бары, провал бы их взял! ступай им по десяти верст в час; а поехал вволю рысцой или шагом, так норовят в зубы». – «И впрямь, – сказал проезжий, – что ваше за житье! То ли дело у нас за морем; вот уж подлинно мужички-та живут припеваючи. Во всем воля: что хочешь, то и делай. У нас ямщик прогоны-то берет не по-вашему – по полтине на версту; едет как душе угодно: дадут на водку – пошел рысцой; нет – так и шагом; а проезжий, хоть генерал будь какой, не смей до него и дотронуться. По нашим дорогам – что верста, то кабак; а ямщик волен у каждого кабака останавливаться».

– Ну, Андрюха! – вскричал ямщик в армяке, – житье же там нашему брату!

– Нишни, Ваня! – сказал старый крестьянин, – не мешай ему, пусть он доскажет.

– «А что, батюшка? – молвил я, – продолжал Андрей, – есть ли у вас исправники?» – «Какие исправники! У нас мужик и шапки ни перед кем не ломает; знай себе одного Бонапарта, да и все тут!» – «А кто этот Бонапарт, батюшка?» – спросил я. «Вестимо, кто: наш ханцузской царь. Слушай-ка, детина, – примолвил проезжий, – я тебе скажу всю правду-истину, а ты своим товарищам рассказывай: наш царь Бонапарт завоевал всю землю, да и к вам скоро в гости будет». – «Ой ли? – сказал я, – да к нам-та зачем?» – «Затем, брат, что он хочет, чтоб и у вас мужичкам было такое же льготное и привольное житье, как у нас. Барам-то вашим это вовсе не по сердцу; да вы на них не смотрите; они, пожалуй, наговорят вам турусы на колесах: и то и се, и басурманы-та мы... – не верьте! а встречайте-ка нас, как мы придем, с хлебом да с солью».

– А о поборах-та баял, что ль, он? – спросил один пожилой извозчик.

– Как же; слышь ты, никакой тяги не будет: что хошь, то и давай. У нашего, дескать, царя и без вас всего довольно.

– Ну, Андрюша! – сказал старый крестьянин, – слушал я, брат, тебя: не в батюшку ты пошел! Тот был мужик умный: а ты, глупая голова, всякой нехристи веришь! Счастлив этот краснобай, что не я его возил: побывал бы он у меня в городском остроге. Эх он подъехал с каким подвохом, проклятый! Да нет, ребята! старого воробья на мякине не обманешь: ведь этот проезжий – шпион.

– Неужто, дядя Савельич? – сказал ямщик в армяке.

– Ну да! А ты, Андрей, с дуру-та уши и развесил. Бонапарт? Да знаете ли, православные, кто такой этот Бонапарт! Иль никто из вас не помнит, что о нем по всем церквам читали? Ведь он антихрист!

– Ой ли? Так это он? – вскричал пожилой ямщик.

– Он и есть. Ведь он-та все и подсылает подбивать нашу братью; так, слышь ты, лисой и лисит; да не на тех напал. Нет, ребята! чтоб мы поддались иноверцам?.. Ба,ба, ба! да за что так! Что бога гневить, братцы! разве у нас нет батюшки православного русского царя? Разве мы хуже живем других прочих? Что нам, перекусить, что ль, нечего? Слава тебе господи! По праздникам пустых щей не хлебаем, одежонка есть, браги не покупать statt! А если б и худо-то было? Так что ж? Знай про то царь-государь: ему челом; а Бонапарту-та какое до нас дело? Разве мы его?

– Ведь дядя-то Савельич правду говорит, ребята! – сказав один из ямщиков, обращаясь к своим товарищам.

– Да, детушки! Я подолее вас живу на белом свете; в пугачевщину я был уж парень матерой. Тяжко, ребята, и тогда было – такой был по всей святой Руси погром, что и боже упаси! И Пугач также прельщал народ, да умней был этого Бонапарта: назвался государем Петром Федоровичем – так не диво, что перемутил всех православных; а этот что за выскочка? Смотри, пожалуй! вишь, ему жаль нас стало! Экой милостивец выискался! Нет, ребята! Если уж господь бог найдет на нас какую невзгоду, так пускай же свои собаки грызутся, а чужие не мешайся.

– Так, вестимо так, Савельич! Правда, Савельич! – заговорили все извозчики, кроме Андрея.

– Что ж ты, брат Андрюха, язычок-та прикусил, а? – спросил пожилой ямщик.

– Что, брат, – отвечал Андрей, почесывая в голове, – оно бы и так, да, слышь ты, он баил, что исправников не будет и бары-то не станут над нами ломаться.

– Ах ты, дурачина, дурачина! – перервал старик, – да разве без старших жить можно? Мы покорны судьям да господам; они – губернатору, губернатор – царю, так испокон веку ведется. Глупая голова! как некого будет слушаться, так и дело-то делать никто не станет.

– Что правда, то правда, – сказал один из ямщиков, – нашему брату нельзя жить без грозы; кабы только прогоны-то были у нас также по полтине на версту...

– А овес по два рубля четверть? Вот то-то и есть, ребята, вы заритесь на большие прогоны, а поспрошайте-ка, чего стоят за морем кормы? Как рублей по тридцати четверть, так и прогоны не взмилются! Нет, Федотушка! где дорого берут, там дорого и платят!

– Вестимо, так, – сказал извозчик в армяке. – Да вот что, дядя Савельич, кабы поборов-та с нас не было?

– Эх, Ваня, Ваня! Да есть ли земля, где б поборов не было? Что вы верите этим нехристям; теперь-то они так говорят, а дай Бонапарту до нас добратся, так последнюю рубаху стащит; да еще заберет всех молодых парней и ушлет их за тридевять земель в тридесятое государство.

– Что ты, дядя Савельич, нас морочишь!.. – перервал с приметной досадою Андрей. – На что ему забирать чужой народ; у него и своего довольно.

– Довольно, да не совсем. Вот что, ребяташки, мне рассказывал один проезжий: этот Бонапарт воюет со всеми народами; у него что год, то набор. Своих-то всех перехватал в некруты, так и набирает где попало.

– И я тоже слышал, – сказал один пожилой извозчик. – Вишь, какой неугомонный, все таскается с войском по чужим землям! Что это, Савельич, этим хранцузам дома не сидится?

– Видно, брат, земля голодная – есть нечего. Кабы не голод, так черт ли кого потащит на чужую сторону! а посмотри-ка, сколько их к нам наехало: чутьем знают, проклятые, где хлебец есть.

– Да, они на это куда сметливы, – сказал один извозчик в изорванном кафтане, – знают, где раки зимуют. Слышь ты, у нас все дурно, а все-таки к нам лезут!

– Да, да! толкуй себе! – перервал Андрей, – что, чай, у нас хорошо?.. От одной гонки свету божьего не взвидишь. Ну, пусть у них кормы дороже, да зато и езда-то какая? А у нас?.. скачи себе сломя голову.

– Кой прах! – вскричал старик, – наладил одно да одно! Разве деды наши не держали почты? Разве я сам не вожу подчас проезжих? Господи боже мой! – продолжал он, вскочив с завалины, – да что ты за ямщик, коли десяти верст в час не уедешь? Эх, не прежние мои годы!.. Бывало, в старину, как заложить тройку ухарских, так только держись... пыль столбом!.. Куды понукать! Бывало, седок взмолится да учнет милости просить; так нет! сердце не терпит! Дал родным вздохнуть, да и пошел по всем по трем! с горки на горку!.. Эх вы, милые, закатывай, да и только!.. Вот это езда! А селом-то бывало – селом!.. попридержишь у околицы, а как въедешь в улицу – шапку набок, свистнул, гаркнул, да и след простыл... и самому весело, и красны девицы удалым парнем любят; а вас, прости господи, за что и невестам любить? Какие вы ямщики? Волон бы вам гонять да по клюкву-ягоду!

– Что ты, дядя? – перервал ямщик в армяке, – не все в Андрея: и мы прокатим не хуже другого.

– Катай себе, катай! – проворчал сквозь зубы Андрей, – а я своих коней поморить не хочу.

– Мореного морить нечего, – сказал старик. – Корми их одной соломой, так они и без езды отощат. То-то, брат Андрюша! вишь, ты и по будням ходишь в синем кафтане да в красном кушаке. Мы держимся старины: взял прогоны, выпил на гривнягу, да и будет; а ты так нет, как барин – норовишь все в трактир: давай чаю, заморской водки, того-сего, всякой лихой болести; а там хват, хват, ан и сенца не на что купить. А как в мошне пусто, да и дома-то не густо, так поневоле дурь полезет в голову: теперь ты слушаешь рассказы иноземцев, а там, пожалуй, и на большую дорогу выдешь. Нет, брат Андрей, некому тебя бить: замотался ты.

– Да что ж ты, Савельич, взъелся в самом деле? – сказал с досадою Андрей. – Что ты, родной или хрестной мне батька, что ль?

– Полно, Андрюха, ершиться-то, – перервал ямщик в армяке. – Савельич бает правду. Вестимо, ты мотыга; вот уж с месяц, как взял у меня три рубля, а и в помине о них нет...

– Так что ж? – отдам.

– То-то отдам! Я и сам бы умел синий кафтан носить по будням. Знаем мы вас – отдам.

– А осьмину-то овса, что у меня занял, – примолвил пожилой извозчик, – отдашь ли хоть к Петрову дню?

– А за кушак-то когда заплатишь? – закричал ямщик в изорванном кафтане, – ведь ты его купил у меня уж третий месяц. Эй, осрамлю, Андрюшка! при всех в церкви сниму.

– Видно, брат Андрюха, – прибавил один молодой детина, – исправник-то мало тебя на прошлой неделе уму-разуму учил.

– Как так? – спросил старик.

– Да так! – продолжал молодой парень. – Он возил со мной проезжих в Подсолнечное, да и ну там буянить в трактире и с смотрителем-то схватился: вот так к роже и лезет. На грех проезжал исправник, застал все, как было, да и ну его жаловать из своих рук. Уж он его маил, маил...

– Э! э! – вскричал ямщик в худом кафтане. – Так вот что, ребята! Вот за что он на исправников-то осерчал. Эки пострелы в самом деле! и поозорничать не дадут. Нет, нет – да и плетью!

Все ямщики засмеялись, и пристыженный Андрей не знал уже куда деваться от насмешек, которые на него посыпались, как вдруг со стороны Петербурга зазвенел колокольчик.

– Еще бог дает проезжих! – сказал ямщик в армяке. – Экой разгон!

– Глядь-ка, – вскричал старик. – Ну молодец! как дерет!.. Знать, курьер или фельтегарь!.. Смотри-ка, смотри! Ай да коренная! Вот, брат, конь!.. Пристяжные насилу постромки уносят.

– Нет, дядя Савельич, – сказал один из ямщиков, – это не курьер, да и кони не почтовые... Ну – так и есть! Это Ерема на своей гнедой тройке. Что это так его черти несут?

Кибитка, запряженная тройкой лихих коней, покрытых пылью и потом, примчалась к почтовому двору. В ней сидели двое купцов: один лет семидесяти и седой как лунь; другой лет под сорок, с светло-русой окладистой бородою. Если нельзя было смотреть без уважения на патриархальную физиономию первого, то и наружность второго была не менее замечательна: она принадлежала к числу тех, которые соединяют в себе все отдельные черты национального характера. Радушие, природный ум, досужество, сметливость и русской толк отпечатаны были на его выразительном и открытом лице. Старик пошел в избу к смотрителю, а товарищ его остался у кибитки.

– Ну что, брат Ерема? – спросил приехавшего ямщика старый крестьянин, – подобра ли, поздорову?

– Бог грехам терпит, Савельич! Живем понемногу.

– Эх, как у тебя кони-то припотели! – сказал ямщик в армяке, – видно, брат, больно шибко ехал?

– Да, Ваня, – отвечал ямщик, принимаясь выпрягать лошадей, – взялся на часы, так не поедешь шагом.

– А что! За двойные, что ль?

– Нет, брат! по двадцати копеек на версту да целковой на водку!

– Знатная работа! Да что они так торопятся?

– Знать, нужда пристигла: спешат в Москву. Седой-то больно тоскует! всю дорогу про-
охла. А кто у вас едет?

– Да никто, брат: кроме курьерской тройки, ни одной лошади нет.

Меж тем купец, взойдя на почтовый двор, подал смотрителю свою подорожную. Взглянув на нее и прочтя: *»давать из почтовых«*, смотритель молча положил ее на стол.

– Что, батюшка? – сказал купец, – иль лошадей нет?

– Все в разгоне.

– Нет ли вольных?

– Нет.

— А попутчиков?

— Есть четверня, да вот его благородие уж часа три дожидается.

– Ах, боже мой, боже мой! что мне делать? – вскричал отчаянным голосом купец. – Я готов дать все на свете, только бога ради, господин смотритель, отпустите меня скорее.

Смотритель пожал плечами и не отвечал ни слова.

– Вы, кажется, очень торопитесь? – спросил Рославлев, который не мог без сострадания видеть горя этого почтенного старика.

– Ах, сударь! – отвечал купец, – не под лета бы мне эта к скакать; и добро б я спешил на радость, а то... но делать нечего; не мне роптать, окаянному грешнику... его святая воля! – Старик закрыл глаза рукою, и крупные слезы закапали на его седую бороду.

– Извините мое любопытство. – сказал после короткого молчания Рославлев, – какой несчастный случай заставляет вас спешить в Москву?

— Да, сударь! — отвечал старик, утирая глаза, — подлинно несчастный! Господь посетил меня на старости. Я был по торговым делам в Твери; в Москве у меня оставались жена и сын, а меньшей был вместе со мною. Вчера он занемог горячкою, а сегодня поутру я получил письмо от приказчика, в котором он уведомляет, что старшего сына моего разби́ли лошади, что он чуть жив, а старуха моя со страстей так занемогла, что, того и гляди, отдаст богу душу. И докторов призывали, и Иверскую подымали, все нет легче. Третьего дня ее соборовали маслом; и если я сегодня не успею в Москву, то, наверно, не заста́ну ее в живых. Эх, сударь! вы молоды, так не знаете, каково расставаться с тем, с кем прожил сорок лет душа в душу. Не тот сирота, батюшка, у кого нет только отца и матери; а тот, кто пережил и родных и приятелей, кому словечка не с кем о старине перемолвить, кто, горемычный, и на своей родине, как на чужой

стороне. Живой в могилу не ляжешь, батюшка! Кто знает? Может быть, я еще годов десять промаюсь. С моей старухой я невовсе еще был сиротою, а теперь... голубушка моя, родная!.. хоть бы еще разочек на тебя взглянуть, моя сердечная!..

Рыдания перервали слова несчастного старика. До души тронутый Рославлев колебался несколько времени. Он не знал, что ему делать. Решиться ждать новых лошадей и уступить ему своих, – скажет, может быть, хладнокровный читатель; но если он был когда-нибудь влюблен, то, верно, не обвинит Рославлева за минуту молчания, проведенную им в борьбе с самим собою. Наконец он готов уже был принести сию жертву, как вдруг ему пришло в голову, что он может предложить старику место в своей коляске.

– Скажите мне, – спросил он, – можете ли вы расстаться с своим товарищем?

– Могу, сударь! Он ехал на перекладных; а как на последней станции была также задержка, то я взял его с собою.

– Так чего же лучше? Пусть он дожидается лошадей и приедет завтра; а вы не хотите ли доехать до Москвы вместе со мною?

– Ах, мой благодетель!.. Я не смел вас просить об этом; но не стесню ли я вас?

– Не беспокойтесь, нам обоим будет просторно.

– Иван Архипович! – сказал другой купец, войдя в избу. – Все лошади в разгоне; что будешь делать? ни за какие деньги нельзя найти. Пришлось поневоле дожидаться.

– Нет, Андрей Васьянович! Вот этот барин – награди его господь! – изволит везти меня, вплоть до самой Москвы, в своей коляске.

– Дай бог вам здоровье, батюшка! – сказал купец, поклонясь вежливо Рославлеву. – Он спешит в Москву по самой экстренной надобности, и подлинно вы изволили ему сделать истинное благодеяние. Я подожду здесь лошадей; и если не нынче, так завтра доставлю вам, Иван Архипович, вашу повозку. Мне помнится, ваш дом за Серпуховскими воротами?

– Да, батюшка! в переулке, в приходе Вознесения Господня. Теперь, сударь, – продолжал старик, обращаясь к Рославлеву, – я не смею вас просить остановиться у меня...

– Мне и самому было бы некогда к вам заехать, – перервал Рославлев. – Я только что перемену лошадей в Москве.

– Но неравно вам прилучится проезжать опять чрез нашу Белокаменную, то порадуите старика, въезжайте прямо ко мне, и если я буду еще жив... Да нет! коли не станет моей Мавры Андреевны, так господь бог милостив... услышит мои молитвы и приберет меня горемычного.

– Эх, Иван Архипович! – сказал купец, – на что заране так крушиться? Отчаяние – смертный грех, батюшка! Почему знать, может быть, и сожительницам сыновья ваши выздоровеют. А если господь пошлет горе, так он же даст силу и перенести его. А вы покамест все надежды не теряйте: никто как Бог.

Старик тяжело вздохнул и, склонив на грудь свою седую голову, не отвечал ни слова.

– Осмелюсь спросить, сударь, – сказал купец после короткого молчания, – откуда изволите ехать?

– Из Петербурга.

– Из Петербурга? А что, сударь, там слышно о войне?

– Вероятно, турецкая война скоро будет кончена.

– Об этом у нас и в Москве давно говорят. Но есть также слухи, что будто бы французы... избави господи!

– Что ж тут страшного? Разве нам в первый раз драться с Наполеоном?

– Да то, сударь, бывало за границую, а теперь, если правда, что болтают, и Наполеон собирается к нам... помилуй господи!.. Да это не легче будет татарского погрома. И за что бы, подумаешь, французам с нами ссориться? Их ли мы не чествуем? Им ли не житье, хоть, примером сказать, у нас в Москве? Бояр наших, не погневайтесь сударь, учат они уму-разуму, а нашу

братью, купцов, в грязь затоптали; вас, господа, – не осудите, батюшка! – кругом обируют, а нас, беззащитных, в разор разорили! Ну, как бы после этого им не жить с нами в ладу?

– Но разве вы думаете, что с нами желают драться французские модные торговки и учителя? Поверьте, они не менее вашего боятся войны.

– Конечно, батюшка-с, конечно; только – не взыщите на мою простоту – мне сдается, что и Наполеон-та не затеял бы к нам идти, если б не думал, что его примут с хлебом да с солью. Ну, а как ему этого не подумать, когда первые люди в России, родовые дворяне, только что, прости господи! не молятся по-французски. Спору нет, батюшка, если дело до чего дойдет, то благородное русское дворянство себя покажет – постоит за матушку святую Русь и даже ради Кузнецкого моста французов не помилует; да они-то, проклятые, успеют у нас накупить в один месяц столько, что и годами не поправить... От мала до велика, батюшка! Если, например, в овчарне растворят ворота и дворовые собаки станут выть по-волчьи, та и дивиться нечему, когда волк забредет в овчарню. Конечно, собаки его задавят и хозяин дубиною пришибет; а все-таки может случиться, он успеет много овец перерезать. Так не лучше ли бы, сударь, и ворота держать на запоре, и собакам-та не прикидываться волками; волк бы жил да жил у себя в лесу, а овцы были бы целы! Не взыщите, батюшка! – примолвил купец с низким поклоном, – я ведь это так, спроста говорю.

– Я могу вас уверить, что много есть дворян, которые думают почти то же самое.

– Как не быть, батюшка! И все так станут думать, как тяжело придет; а впрочем, и теперь, что бога гневить, есть русские дворяне, которые не совсем еще обыноземились. Вот хоть и ваша милость: вы не погнушались ехать вместе с моим товарищем, хоть он не французской магазинщик, а русской купец, носит бороду и прозывается просто Иван Сезёмов, а не какой-нибудь мусье Чертополох. Да вот еще; вы, верно, изволили читать: «Мысли вслух на Красном крыльце Силы Андреевича Богатырева». Книжка не великонька, а куды в ней много дела, и, говорят, будто бы ее сложил какой-то знатный русской боярин, дай господи ему много лет здравствовать! Помните ль, батюшка, как Сила Андреевич Богатырев изволил говорить о наших модниках и модницах: их-де отечество на Кузнецком мосту, а царство небесное – Париж. И потом: «Ох, тяжело, – прибавляет он, – дай боже, сто лет царствовать государю нашему, а жаль дубинки Петра Великого – взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур...» Не погневайтесь, батюшка, ведь это не я; а ваш брат, дворянин, русских барынь и господ так честить изволил.

– Не беспокойтесь! – сказал Рославлев, – я за дур и дураков вступаться не стану. Впрочем, не надобно забывать, что в наш просвещенный век смешно и стыдно чуждаться иностранцев.

– Кто и говорит, батюшка! Чуждаться и носить на руках – два дела разные. Чтoб нам не держаться русской пословицы: *как аукнется, так и откликнется!*.. Как нас в чужих землях принимают, так и нам бы чужеземцев принимать!.. Ну, да что об этом говорить... Скажите-ка лучше, батюшка, точно ли правда, что Бонапарт сбирается на нас войною?

– Это еще не решено.

– А как решится, так что ж он – на Москву, что ли, пойдет?

– Может быть. Он избалован счастьем и привык заключать мир в столицах своих неприятелей.

– Вот что! Да что ж он в них делает?

– Веселится, отдыхает, берет с обывателей контрибуции, то есть деньги.

– И ему платят?

– Поневоле: против силы делать нечего.

– Как нечего? Что вы, сударь! По-нашему вот как. Если дело пошло наперекор, так не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи боже мой! У меня два дома да три лавки в Панском ряду, а если божиим попущением враг придет в Москву, так я их своей рукой запалю. На вот тебе! Не хвались же, что моим владеешь! Нет, батюшка! Русской народ упрям; вели

только наш царь-государь, так мы этому Наполеону такую хлеб-соль поднесем, что он хоть и семи пядей во лбу, а – вот те Христос! – подавится.

«Нет, это не хвастовство!» – подумал Рославлев, смотря на благородную и исполненную души физиономию купца.

– Дай мне свою руку, почтенный гражданин! – сказал он. – Ты истинно русской, и если б все так думали, как ты...

– И, сударь! Придет беда, так все заговорят одним голосом, и дворяне и простой народ! То ли еще бывало в старину: и триста лет татары владели землею русскою, а разве мы стали от этого сами татарами? Ведь все, а чем нас упрекает Сила Андреевич Богатырев, прививное, батюшка; а корень-то все русской. Дремлем до поры до времени; а как очнемся да стрехнем с себя чужую пыль, так нас и не узнаешь!

– Угодно вам ехать, сударь? – сказал Егор, слуга Рославлева, войдя в избу. – Лошади готовы.

Рославлев пожал еще раз руку молодому купцу и сел с Иваном Архиповичем в коляску. Ямщик тронул лошадей, затянул песню, и когда услышал, что купец даст ему целковый на водку, присвистнул и помчался таким молодцом вдоль улицы, что старой ямщик не усадил на завалине, вскочил и закричал ему вслед:

– Ай да Прошка! Вот это по-нашенски! Лихо! Эй ты, закатывай!..

Глава VI

– Егор!

– Чего изволите, сударь?

– Где ж поворот налево?

– А вон, сударь, за тем леском.

– Не может быть, мы, верно, проехали мимо.

– Никак нет, сударь! До поворота версты две еще осталось.

– Ты врешь! Вот уж с час, как мы выехали с последней станции.

– Помилуйте, Владимир Сергеевич! и полчаса не будет.

– Ты опять пьян, бездельник!

– Никак нет, сударь! В Москве старик купец, которого вы довезли до дому, на радостях, что его жене стало лучше, хотел было поднести мне чарку водки, да вы так изволили спешить, что он вместо водки успел только сунуть мне полтинник в руку.

– А как ты смел взять? Ты знаешь, что я этого терпеть не могу.

– Воля ваша, сударь! некогда было спорить: вы так изволили торопиться.

– Эй, ямщик! да полно, знаешь ли ты дорогу в село Утешино?

– Как не знать, ваша милость. Я не раз важивал Прасковью Степановну Лидину в город. Ну ты, одер! посматривай по сторонам-то.

– Мне помнится, что поворот с большой дороги был на восьмой версте от станции.

– Да, барин; да восьмая-то верста вон за этим лесом. Ей вы, милые!..

Рославлев замолчал. Минут через пять березовая роща осталась у них назади; коляска своротила с большой дороги на проселочную, которая шла посреди полей, засеянных хлебом; справа и слева мелькали небольшие лесочки и отдельные группы деревьев; вдали чернелась густая дубовая роща, из-за которой подымались высокие деревянные хоромы, построенные еще дедом Полины, храбрым секунд-майором Лидиным, убитым при штурме Измаила. Подъехав к крутому спуску, извозчик остановил лошадей и слез с козел, чтоб подтормозить колеса.

– Посмотрите-ка, сударь! – сказал Егор, – никак, это идет по дороге дурочка Федора?.. Ну так и есть – она!

Крестьянская девка, лет двадцати пяти, в изорванном сарафане, с распущенными волосами и босиком, шла к ним навстречу. Длинное, худощавое лицо ее до того загорело, что казалось почти черным; светло-серые глаза сверкали каким-то диким огнем; она озиралась и посматривала во все стороны с беспокойством; то шла скоро, то останавливалась, разговаривала потихоньку сама с собою и вдруг начала хохотать так громко и таким отвратительным образом, что Егор вздрогнул и сказал с приметным ужасом:

– Ну, встреча! черт бы ее побрал. Терпеть не могу этой дуры... Помните, сударь! у нас в селе жила полоумная Аксинья? Та вовсе была нестрашна: все, бывало, поет песни да пляшет; а эта безумная по ночам бродит по кладбищу, а днем только и речей, что о похоронах да о покойниках... Да и сама-та ни дать ни взять мертвец: только что не в саване.

Меж тем полоумная, поровнявшись с коляской, остановилась, захохотала во все горло и сказала охриплым голосом:

– Здравствуй, барин!

– Здравствуй, Федорушка! Куда идешь?

– Вестимо куда – на похороны. А ты куда едешь?

– В Утешино.

– Ой ли? Да разве барышня-то уж умерла?

– Что ты врешь, дура? – закричал Егор.

– Смотри не дерись! – сказала полоумная, – а не то ведь я сама камнем хвачу.

– А давно ли ты видела барышню? – спросил Рославлев.

– Барышню?.. какую?.. невесту-та, что ль, твою?

– Да, Федорушка!

– Ономясь на барском дворе она дала мне краюшку хлеба, да такой белой, словно про-
свира.

– Ну что?.. Она здорова?

– Нет, слава богу, худа: скоро умрет. То-то наемся кутьи на ее похоронах!

– Как?.. Она больна?..

– Эх, сударь! – перервал Егор, – что вы ее слушаете? Она весь свет хоронит.

– погоди, голубчик! и ты протянешься.

– Типун бы тебе на язык, ведьма!.. Эко воронье пугало! Над тобой бы и треслось, про-
клятая! Ну что зеваешь? Пошел!

Коляска двинулась под гору, а сумасшедшая пошла по дороге и запела во все горло: «Со
святыми упокой!»

Проехав версты две большой рысью, они поравнялись с мелким сосновым лесом. В близ-
ком расстоянии от большой дороги слышались охотничьи рога; вдруг из-за леса показался
один охотник, одетый черкесом, за ним другой, и вскоре человек двадцать верховых, окружен-
ных множеством борзых собак, выехали на опушку леса. Впереди всех, в провожании двух
стремянных, ехал на сером горском коне толстый барин, в полевом кафтане из черного бар-
хата, с огромными корольковыми пуговицами; на шелковом персидском кушаке, которым он
был подпоясан, висел небольшой охотничий нож в дорогой турецкой оправе. Рядом с ним ехал
высокий и худощавый человек в зеленом сюртуке, подпоясанный также кушаком, за которым
заткнут был широкой черкесской кинжал. Вслед за охотниками выехали из леса, окруженные
стаею гончих, человек десять ловчих, доезжачих и псарей. Когда коляска поровнялась с охо-
тою, толстый барин приостановил свою лошадь и закричал:

– Что это? Ба, ба, ба! Рославлев! Стой, стой!

Ямщик остановил лошадей.

– А! это вы, Николай Степанович? – сказал Рославлев.

– Милости просим, будущий племянник! Здорово, моя душа! Ну, мы сегодня тебя не
ожидали! Да вылезай, брат, из коляски.

– Извините, я спешу!..

– В Утешино? Не, беспокойся: ты там не найдешь своей невесты.

– Ах, боже мой!.. где ж она?

– Христос с тобой!.. что ты испугался? Все, слава богу, здоровы. Они поехали в город с визитом – вот к его жене.

– Здравствуйте, Владимир Сергеевич! – сказал худошавый старик в зеленом сюртуке. – Насилу мы вас дождались!

– Так я проеду прямо в город.

– Хуже, брат! как раз разъедетесь. Они часа через полтора сюда будут. Я угощаю их охотничьим обедом здесь в лесу, на чистом воздухе. Да вылезай же!

Рославлев выпрыгнул из коляски.

– Ну, здравствуй еще раз, любезный жених! – сказал Николай Степанович Ижорской, пожимая руку Рославлева. – Знаешь ли что? Пока еще наши барыни не приехали, мы успеем двух, трех русаков затравить. Ей, Терешка! Долой с лошади!

Один из стремянных слез с лошади и подвел ее Рославлеву.

– Садись-ка, брат! – продолжал Ижорской, – а вы с коляскою ступайте в Утешино.

Рославлеву вовсе не хотелось травить зайцев; но делать было нечего; он знал, что дядя его невесты человек упрямый и любит делать все по-своему.

– Ну, брат! – сказал Ижорской, когда Рославлев сел на лошадь, – смотри держись крепче: конь черкесской, настоящий Шалох. Прошлого года мне его привели прямо с Кавказа: зверь, а не лошадь! Да ты старый кавалерист, так со всяким чертом сладишь. Ей, Шурлов! кинь гончих вон в тот остров; а вы, дурачье, ступайте на все лазы; ты, Заливной, стань у той перемычки, что к песочному оврагу. Да чур не зевать! Поставьте прямо на нас милого дружка, чтобы было чем потешить приезжего гостя.

– Уж не извольте опасаться, батюшка! – сказал Шурлов, поседевший в отъезжих полях ловчий, который имел исключительное право говорить и даже иногда перебраниваться с своим баринком. – У нас косой не отвертится – поставим прямехонько на вас; извольте только стать вон к этому отъемному острову.

– Ну то-то же, Шурлов, не ударь лицом в грязь.

– Помилуйте, сударь! да если я не потешу Владимира Сергеевича, так не прикажите меня целой месяц к корыту подпускать. Смотрите, молодцы! держать ухо востро! Сбирай стаю. Да все ли довалились?.. Где Гаркало и Будило? Ну что ж зеваешь, Андрей, – подай в рог. Ванька! возьми своего полвапегова-то кобеля на свору; вишь, как он избаловался – все опушничает. Ну, ребята, с богом! – прибавил ловчий, сняв картуз и перекрестясь с набожным видом, – в добрый час! Забирай левее!

В одну минуту охотники разъехались по разным сторонам, а псарь, с стаею гончих, отправились прямо к небольшому леску, поросшему низким кустарником.

– Терешка! – сказал Ижорской стремянному, который отдал свою лошадь Рославлеву, – ступай в липовую рощу, посмотри, раскинут ли шатер и пришла ли роговая музыка; да скажи, чтоб чрез час обед был готов. Ну, любезные! – продолжал он, обращаясь к Рославлеву, – не думал я сегодня заполевать такого зверя. Вчера Оленька раскладывала карты, и все выходило, что ты прежде недели не будешь. Как они обрадуются!

– Да точно ли они сюда приедут?

– Экой ты, братец! уж я сказал тебе, что они обедают здесь, вон в этой роще. Да не отставай, Ильменев! Что ты? иль в стремянные ко мне хочешь?

– Лошаденка-то устала, батюшка Николай Степанович! – отвечал господин в зеленом сюртуке.

– Молчи, брат! будешь с лошадыю. Я велел для тебя выездить чалого донца, знаешь, что в карете под рукой ходит?

– Ох, боек, отец мой! Не по мне: как раз слечу наземь!

– И полно, братец, вздор! Не кверху полетишь! Да тебе же не в диковинку, – прибавил Ижорской, толкнув локтем Рославлева. – Ты и с места слетел, да не ушибся!

– Как, Прохор Кондратьевич? – спросил Рославлев, – так не вы уж городничим в нашем городе?

– Да, сударь! злые люди обнесли меня перед начальством.

– Расспроси-ка, какую он терпит напраслину, – сказал Ижорской, мигнув потихоньку Рославлеву. – Поклепали малого, будто бы он грамоте не знает.

– Неужели?

– Не грамоты, батюшка, – имя-то свое мы подчеркнем не хуже других прочих, а вот в чем дело: с месяц тому назад наслали ко мне указ из губернского правления, чтоб я донес, сколько квадратных сажень в нашей площади. Я было хотел посоветоваться с уездным стряпчим: человек он ученой, из семинаристов; но на ту пору он уехал производить следствие. Вот я подумал, подумал, да и отрепортовал, что у меня в городе квадратной сажени не имеется и чтоб благоволили мне из губернии доставить образцовую. Что ж, сударь? Ждать-пождать, слышу, – наш губернатор и рвет и мечет! И неуч-то я, и безграмотной – и как, дескать, быть городничим такому невежде; а помилуйте! какое я сделал невежество?.. Вдруг на прошлой неделе бряк указ – я отставлен; а на мое место какой-то немецкой Фон. А так как он еще не прибыл, так сдать мне должность старшему приставу. Что делать, батюшка? Плетью обуха не перешибешь!

– И вас за одно это отставили? – спросил Рославлев.

– Да, сударь! Вот так-то всегда бывает: прикажут без толку, а там наш брат подчиненный и отвечай. Без вины виноват!

– Жаль, что наш губернатор поторопился вас отставить. Если вы не знали, что такое квадратная сажень, зато не знали также, как берут взятки с обывателей.

– Видит бог, нет, батюшка! И ко мне, случалось, забежали с кулечками: кто голову сахару, кто фунтик чаю; да я, бывало, так турну со двора, что насилу ноги уплетут.

– Впрочем, охота вам горевать, Прохор Кондратьевич! Вы жили не службою: у вас есть собственное состояние.

– Конечно, есть посильное место, сударь! С голоду не умрем. Да ведь я служил из чести, Владимир Сергеевич! Что ни говори, а городничий у себя в городе велико дело. Бывало, идешь гоголем по улице, побрякиваешь себе шпорами да постукиваешь саблею; кто ни попался – шапку долой да в пояс! А в табельные-то дни, батюшка! приедешь в собор – у дверей встречает частный пристав, народ расступается; идешь по церкви барин барином! Становишься впереди всех, у самого амвона, к кресту подходишь первый... а теперь?.. Ну, да делать нечего, – была и нам честь.

– А как приедет, бывало, в город губернатор? – спросил с улыбкою Рославлев.

– Ну, конечно, батюшка! подчас напляшешься. Не только губернатор, и слуги-то его начнут тебя пырять да гонять из угла в угол, как легавую собаку. Чего б ни потребовали к его превосходительству, хоть птичьего молока, чтоб тут же родилось и выросло. Бывало, с ног собьют, разбойники! А как еще, на беду, губернатор приедет с супругою... ну! совсем молодца заматают! хоть вовсе спать не ложись!

– Вот то-то же, братец! Я слышал, что губернатор объезжает губернию: теперь тебе и горюшка мало, а он, верно, в будущем месяце заедет в наш город и у меня будет в гостях, – примолвил с приметной важностию Ижорской. – Он много наслышался о моей больнице, о моем конском заводе и о прочих других заведениях. Ну что ж? Праздников давать не станем, а запросто, милости просим!

В продолжение этого разговора они проехали с полверсты полем и остановились подле частого кустарника. С одной стороны он отделялся от леса узкой поляною, а с другой был окружен обширными лугами, которые спускались пологим скатом до небольшой, но отменно

быстрой речки; по ту сторону оной начинались возвышенные места и по крутому косогору изгибалась большая дорога, ведущая в город. Прямо против них не было никакой переправы; но вниз по течению реки, версты полторы от того места, где они остановились, перекинут был чрез нее бревенчатый и узкой мостик без перил.

Прошло несколько минут в глубоком молчании. Ижорской не спускал глаз с мелкого леса, в который кинули гончих. Ильменев, боясь развлечь его внимание, едва смел переводить дух; стремянный стоял неподвижно, как истукан; один Рославлев поворачивал часто свою лошадь, чтоб посмотреть на большую дорогу. Он решился, наконец, перервать молчание и спросил Ижорского: здоров ли их сосед, Федор Андреевич Сурской?

– Здоров, братец! – отвечал Ижорской, – что ему делается?.. Постой-ка?.. Слышишь?.. Никак тяфкнула?.. Нет, нет!.. Он будет сюда с нашими барынями... Чудак!.. поверишь ли? не могу его уговорить поохотиться со мною!.. Бродит пешком да ездит верхом по своим полям, как будто бы некому, кроме его, присмотреть за работою; а уж читает, читает!..

– С утра до вечера, батюшка! – перервал Ильменев. – Как это ему не надоест, подумаешь? Третьего дня я заехал к нему... Господи боже мой! и на столе-то, и на окнах, и на стульях – всё книги! И охота же, подумаешь, жить чужим умом? Человек, кажется, неглупый, а – поверите ль? – зарылся по уши в эту дрянь!..

– Слышишь, Владимир? – сказал Ижорской. – Вот умной-то малый! Книги – дрянь! Ах ты, безграмотный!.. Посмотри-ка, сколько у меня этой драни!

– Помилуйте, батюшка! да у вас дело другое – за стеклышком, книга к книге, так они и красу делают!

– Да, брат, на мою библиотеку полюбоваться можно.

– И вы, сударь, иногда от безделья книжку возьмете; да вы человек рассудительный: прочли страничку, другую, и будет; а ведь он меры не знает. Недели две тому назад...

– Молчи-ка, брат!.. Чу! никак добираются?.. так и есть!.. Натекли!.. Ого-го! как приняли!.. Ну! свалились!.. пошла писать!.. помчали!..

– Никак, по горячему следу, батюшка?

– Нет, братец! иль не слышишь? по зрячему... Владимир, смотри, смотри!.. Да не туда, куда ты смотришь. Рославлев! что ты, братец?

Но Рославлев не видел и не слышал ничего. Вдали за речкой показался на большой дороге ландо, заложженный шестью лошадьми.

– Вот он, вот он! – закричал вполголоса Ижорской.

– Да, это он! – повторил Рославлев, узнав экипаж Лидиной.

– О-о-ту его!.. – затянул протяжным голосом стремянный, показывая собакам русака, который отделился от леса.

– Береги, Рославлев, береги! – закричал Ижорской. – Вот он!.. О-ту его!.. Постой, братец! Куда ты, пострел? Постой!.. не туда, не туда!..

Но Рославлев был уже далеко. Он пустился, как из лука стрела, вниз по течению реки; собаки Ижорского бросились вслед за ним; другие охотники были далеко, и заяц начал преспокойно пробираться лугами к большому лесу, который был у них позади. Ижорской бесился, кричал; но вскоре крик его заглушили отчаянные вопли ловчего Шурлова, который, выскакав вслед за гончими из *острова*, увидел эту непростительную ошибку. Он рвал на себе волосы, выл, ревел, осыпал проклятиями Рославлева; как полоумный пустился скакать по полю за зайцем, наскочил на пенек, перекувырнулся вместе с своею лошадью и, лежа на земле, продолжал кричать: «О-ту его – о-ту! береги, береги!..»

Меж тем Рославлев в несколько минут доскакал на своем черкесском коне до реки. Ах! как билось сердце влюбленного жениха! Казалось, оно готово было вырваться из груди его!.. Так это они!.. они едут шибкой рысью по крутому противоположному берегу. Рославлев поровнялся с ними, его узнали, ему кричат; но он видит одну Полину... Вот она!.. Белый платок

ее развеивается по воздуху. О! если б лошадь его имела крылья, если б он мог перескочить чрез эту несносную реку, которая, как будто б радуясь, что разделяет двух любовников, крутилась, бушевала и, покрытая пеной, мчалась между крутых берегов своих. Рославлев хочет ехать берегом; по обширное болото перерезывает ему дорогу. Чтоб добраться до моста, ему надобно сделать большой объезд лесом. Он понукает свою лошадь, продирается сквозь частой кустарник, перепрыгивает через колоды и пеньки, летит и – вот он опять в поле, опять видит вдали карету, которая, спустясь с крутого берега, въехала на узкой мост. Кто-то в белом платье высунулся до половины из окна и смотрит ему навстречу... Это, верно, Полина. Вдруг дверцы растворились, раздался громкий крик, белое платье мелькнуло по воздуху, вода расступилась, закипела – и все исчезло. «Боже мой!..» – Рославлев ахнул, сердце его перестало биться, в глазах потемнело; он не видел даже, что вслед за белым платьем какой-то мужчина бросился в воду. Почти без чувств примчался он к берегу реки, которая в этом месте, стесняемая двумя островами, текла с необычайной быстротою. Мужчина пожилых лет употреблял почти нечеловеческие усилия, чтоб отплыть от берега, к которому его прибило быстрым течением; шагах в двадцати от него то показывалось поверх воды, то исчезало белое платье. Рославлев на всем скаку бросился в воду. Черкесской конь, привыкший переплывать горные потоки, с первого размаха вынес его на середину реки; он повернул его по течению, но не успел бы спасти погибающую, если б, к счастью, ей не удалось схватиться за один куст, растущий на небольшом острове, вокруг которого вода кипела и крутилась ужасным образом. В ту самую минуту, как она, совершенно обессилев, переставала уже держаться за сучья, Рославлев успел обхватить ее рукою и выплыть вместе с нею на берег. Он соскочил с лошади, бережно опустил ее на траву и тут только увидел, что спас не свою невесту, а сестру ее Оленьку. «Это вы?.. – сказала она слабым голосом. – Это ты... избавитель мой?..» – повторяла она, обвив руками его шею; но вдруг глаза ее закрылись, и она без чувств упала на грудь Рославлева.

Глава VII

В начале июля месяца, спустя несколько недель после несчастного случая, описанного нами в предыдущей главе, часу в седьмом после обеда, Прасковья Степановна Лидина, брат ее Ижорской, Рославлев и Сурской сидели вокруг постели, на которой лежала больная Оленька; несколько поодаль сидел Ильменев, а у самого изголовья постели стояла Полина и домовый лекарь Ижорского, к которому Лидина не имела вовсе веры, потому что он был русской и учился не за морем, а в Московской академии. Он держал за руку больную и хотя не говорил еще ни слова, но не трудно было отгадать по его веселому и довольному лицу, что опасность миновалась.

– Поздравляю вас, сударыня! – сказал он наконец, обращаясь к Лидиной, – жару вовсе нет, пульс спокойный, ровный. Ольга Николаевна совершенно здорова, и только одна слабость... но это в несколько дней совсем пройдет.

– Точно ли вы уверены в этом? – спросила недоверчиво Лидина.

– Да, сударыня, и так уверен, что прошу вас приказать убрать все эти лекарства; теперь Ольге Николаевне нужны только покой и умеренность в пище.

– Умеренность в пище!.. Да она ничего не ест, сударь!

– Не беспокойтесь! будет кушать. А вам, сударыня! – продолжал лекарь, относясь к Полине, – я советовал бы отдохнуть и подышать чистым воздухом. Вот уж месяц, как вы не выходите из комнаты вашей сестрицы. Вы ужасно похудели; посмотрите: вы бледнее нашей больной.

– Это правда, – перервала Лидина, – она так измучилась, *chère enfant!*³⁶ Представьте себе: бедняжка почти все ночи не спала!.. Да, да, *mon ange!*³⁷ ты никогда не бережешь себя. Помнишь ли, когда мы были в Париже и я занемогла? Хотя опасности никакой не было... Да, братец! там не так, как у вас в России: там нет болезни, которой бы не вылечили...

– Видно, оттого-то в Париже так много и жителей, – сказал шутя Федор Андреевич Сурской.

– И полно, сестра! – подхватил Ижорской, – да разве в Париже никто не умирает?

– Конечно, умирают; но только тогда, когда уже нет никаких средств вылечить больного.

– Извините! – сказал лекарь, – мне надобно ехать в город; я ворочусь сегодня же домой.

Когда он вышел из комнаты, Лидина спросила Оленьку: точно ли она чувствует себя лучше?

– Да, маменька! – отвечала тихим голосом больная, – я чувствую только какую-то усталость.

– Вы еще слабы, – сказал Сурской, – и это очень натурально, после такого сильного потрясения...

– Да, любезный! – перервал Ижорской, – нас всех перетряхнуло порядком; и меня со страстей в лихорадку бросило. Боже мой! вспомнить не могу!.. Дурак Сенька прибежал ко мне как шальной и сказал, что Оленька упала с моста, что ты, Сурской, вытаскивая ее из воды, пошел ко дну и что Рославлев, стараясь вас спасти обоих, утонул с вами вместе. Не знаю, как я усидел на лошади!.. Ну вот, прошу загадывать вперед! Охота, обед, музыка, все мои затеи пошли к черту. А я так радовался, что задам вам сюрприз: вы лишь только бы в палатку, а жених и тут!.. Роговая музыка грянула бы: *желанья наши совершились*; а там новую увертюру из «Дианина древа»! И что ж? Вместо этого всего русак ушел, Шурлов вывихнул ногу, и Оленька чуть-чуть не утонула... Экой выдался денек!

– Я вам докладывал, Николай Степанович! – сказал Ильменев, – что поле будет незадачное. Извольте-ка припомнить: лишь только мы выехали из околицы, так нам и пырь в глаза батяшка Василий; а ведь, известное дело, как с попом повстречаешься, так не жди ни в чем удачи.

– Полно врать, братец! Все это глупые приметы. Ну что имеет общего поп с охотою? Конечно, и я не люблю, когда тринадцать сидят за столом, да это другое дело. Три раза в моей жизни случалось, что из этих тринадцати человек кто через год, кто через два, кто через три, а непременно умрет; так тут поневоле станешь верить.

– В самом деле, – сказал, улыбаясь, Сурской, – это странно! И все эти умирающие были люди молодые?

– Ну, нет! Один-то был уж лет семидесяти – такой старик здоровый! Вдруг свернуло, году не прожил после обеда, на котором он был тринадцатым.

– А я так думаю, – сказала Лидина, – что это несчастье случилось оттого, что у вас в России нет ничего порядочного: дороги скверные, а мосты!.. *Dieu! quelle abomination!*³⁸ Если б вы были во Франции и посмотрели...

– Полно, сестра! Что, разве мост подломился под вашей каретою? Прошу не погневаться: мост славной и строен по моему рисунку; а вот если б в твоей парижской карете дверцы при-творялись плотнее, так дело-то было бы лучше. Нет, матушка, я уверен, что наш губернатор полюбуется на этот мостик... Да, кстати! Меня уведомляют, что он завтра приедет в наш город; следовательно, послезавтра будет у меня обедать.

– Пелагея Николаевна! – сказал Сурской, – лекарь говорил правду: вы так давно живете затворницей, что можете легко и сами занемочь. Время прекрасное, что б вам не погулять?

³⁶ дорогое дитя! (*франц.*)

³⁷ мой ангел! (*франц.*)

³⁸ Боже! Какая мерзость! (*франц.*)

– А он пойдет вместе с тобою, – шепнула Оленька. – Ведь вы еще не успели двух слов сказать друг другу.

– Поди, мой ангел! – сказала Лидина. – Владимир Сергеевич, ступайте с нею в сад.

– Ну что ж ты задумалась, племянница? – закричал Ижорской. – Полно, матушка, ступай! Ведь смерть самой хочется погулять с женихом. Ох вы, барышни! А ты что смотришь Владимир? Под руку ее, да и марш!

– Возьми, мой друг, с собой зонтик, – сказала Лидина Полине, которая решилась наконец оставить на несколько времени больную. – Вот тот, что я купила тебе – помнишь, в Палероале? Он больше других и лучше закроет тебя от солнца.

– Знаешь ли, сестра! – примолвил вполголоса Ижорской, смотря вслед за Рославлевым, который вышел вместе с Полиною, – знаешь ли, кто больше всех пострадал от этого несчастного случая? Ведь это он! Свадьба была назначена на прошлой неделе, а бедняжка Владимир только сегодня в первый раз поговорит на свободе с своей невестой. Не в добрый час он выехал из Питера!

– Мне нельзя согласиться с вами, дядюшка! – сказала больная. – Если б он выехал одним часом позже из Петербурга, то, вероятно, меня не было бы на свете.

– Да, он подоспел в пору.

– Так в самом деле, – спросила Лидина – он один спас Оленьку?

– А с нею и меня, – отвечал Сурской, – судя по тому, как трудно мне было одному выбраться на берег. Нет сомнения, что я не спас бы Ольгу Николаевну, а утонул бы с нею вместе!

– Добрый Рославлев!.. Я, право, люблю его, как родного сына, – примолвила Лидина. – Одно мне только в нем не нравится: этот несносный патриотизм, и не странно ли видеть, что человек образованный сходит с ума от всего русского?.. *Comme c'est ridicule!*³⁹ Скажите мне, monsieur Сурской, *d'où vient cela?*⁴⁰ Он, кажется, хорошо воспитан?

– Да, сударыня! – отвечал с улыбкою Сурской, – он очень хорошо воспитан; а если имеет слабость любить Россию, так это, вероятно, потому, что он не француз.

– Да не вовсе и русской, братец! – подхватил Ижорской. – Вы оба с ним порядком обыноземились. Я сам, благодаря бога, не невежда и знаю кой-что, а не стану вопить, как вопите вы и ваша заморская челядь против нашей дворянской роскоши. Нет, братец! не походите вы оба на русских бояр. Ты, любезный, зарылся в книги, как профессор, живешь каким-то философом, да и Владимир не лучше тебя. Ну, поверишь ли, сестра, как я ему сказал, что у меня без малого четыреста душ дворовых, так он ахнул?.. «Ах, батюшки! четыреста душ!.. Помилуйте! ведь они ничего не делают, а только даром хлеб едят». – «Как ничего? а разве меня не тешут?» – «Да на что вам такая орава?» – «Вот забавно! Стану я считать, сколько у меня людей! Что я, немецкой барон, что ль, какой-нибудь? Нет, сударь! я русской столбовой дворянин и, прошу не погневаться, колокольчика к моим дверям привешивать не стану».

– Подлинно, сударь, вы столбовой русской боярин! – сказал Ильменев, взглянув с подострастием на Ижорского. – Чего у вас нет! Гости ли наедут – на сто человек готовы постели; грунтовой сарай на целой десятине, оранжереям конца нет, персиков, абрикосов, дуль, всякого фрукта... Господи боже мой!.. ешь – не хочется! Истинно куда ни обернись – все барское! В лакейскую, что ль, заглянешь? так, нечего сказать, глаза разбегутся – целая барщина; да что за народ?.. молодец к молодцу!

Ижорской гордо улыбнулся, призадумался, потом вынул огромную золотую табакерку, понюхал с расстановкою табаку и, взглянув ласково на Ильменева, сказал:

³⁹ Как это смешно! (*франц.*)

⁴⁰ откуда это берется? (*франц.*)

– Послушай, Прохор Кондратьевич! в самом деле, чалая донская не по тебе. Знаешь мою гнедую, с белой лысиной?

– Как не знать, батюшка! лошадь богатая: тысячи полторы стоит!

– Так по рукам, братец! Она твоя!

– Как, сударь?

– Ну да, твоя! Езди себе на здоровье, да смотри, похваливай наш заводец!

Ильменев онемел от восторга и удивления; а когда опомнился, то от избытка благодарности заговорил такую нескладицу, что Ижорской, захохотав во все горло, закричал:

– Полно, любезный, полно! заврался!.. Да будет, братец! доскажешь в другое время!

В продолжение этого разговора Рославлев, ведя под руку свою невесту, шел тихими шагами вдоль широкой аллеи, которая перерезывала на две равные половины обширный регулярный сад, разведенный еще отцом Лидиной. Есть минуты блаженства, в которые язык наш немеет от избытка сердечной радости. Рославлев не говорил ни слова, но он не сводил глаз с своей невесты; он был вместе с нею; рука его касалась ее руки; он чувствовал каждое биение ее сердца; и когда тихой вздох, вылетая из груди ее, сливался с воздухом, которым он дышал, когда взоры их встречались... о! в эту минуту он не желал, он не мог желать другого блаженства! То, что в свете называют *страстью*, это бурное, мятежное ощущение всегда болтливо; но чистая, самым небом благословляемая любовь, это чувство величайшего земного наслаждения, не изъясняется словами.

Пройдя во всю длину аллеи, которая оканчивалась густой рощей, Полина остановилась.

– Я что-то устала, – шепнула она тихим голосом.

– Сядемте, – сказал Рославлев.

– Только, бога ради! не здесь, подле этих грустных, обезображенных лип. Пойдемте в рощу. Я люблю отдыхать вот там, под этой густой черемухой. Не правда ли, – продолжала Полина, когда они, войдя в рощу, сели на дерновую скамью, – не правда ли, что здесь и дышишь свободнее? Посмотрите, как весело растут эти березы, как пушисты эти ракитовые кусты; с какою роскошью подымается этот высокий дуб! Он не боится, что придет садовник и сравняет его с другими деревьями.

– И я также не люблю этих подстриженных деревьев, – сказал Рославлев. – Они так единообразны, так живо напоминают нам стены домов, в которых мы должны поневоле запирались зимою. Какая разница!.. Здесь в самом деле и дышишь свободнее. Эта густая зелень, эта дикая, простая природа – все наполняет душу какой-то тихой радостью и спокойствием. Мне кажется... да, Полина! мне кажется, что здесь только, сокрытые от всех взоров, мы совершенно принадлежим друг другу; и только тогда, когда я могу мечтать, что мы одни в целом мире, тогда только я чувствую вполне все мое счастье!

– Так вы очень меня любите? – спросила Полина, чертя задумчиво по песку своим зонтиком. – Очень?..

– Более всего на свете!

– И стали б любить даже и тогда, если б я была несправедлива, если б заплатила за любовь вашу одной неблагодарностью?

– Да, Полина, и тогда! Не в моей власти не любить вас. Это чувство слилось с моей жизнью. Дышать и любить Полину – для меня одно и то же!

– А если бы, для счастья моего, было необходимо, чтоб вы навсегда от меня отказались?..

– Навсегда?..

– Да; если б я потребовала от вас этой жертвы?

– Какая ужасная шутка!

– Но что бы вы сделали, если б я говорила не шутя? Если б в самом деле от этого зависело все счастье моей жизни?

– Все ваше счастье?.. И вы можете меня спрашивать!

– Вы отказались бы добровольно от руки моей?

– Я сделал бы более, Полина! Чтоб совесть ваша была спокойна, я постарался бы пережить эту потерю.

– Добрый Волдемар! – сказала Полина, взглянув с нежностью на Рославлева. – Ах! какую тягость вы сняли с моего сердца! Итак, вы, верно, согласитесь...

– На что? – вскричал Рославлев, побледнев, как приговоренный к смерти.

– Отсрочить еще на два месяца нашу свадьбу.

– На два месяца!!

– Друг мой! – сказала Полина, прижав к своему сердцу руку Рославлева, – не откажи мне в этом! Я не сомневаюсь, не могу сомневаться, что буду счастлива; но дай мне увериться, что и я могу составить твое счастье; дай мне время привязаться к тебе всей моей душой, привыкнуть мыслить об одном тебе, жить для одного тебя, и если можно, – прибавила она так тихо, что Рославлев не мог расслышать слов ее, – если можно забыть все, все прошедшее!

– Но два месяца, Полина!..

– Ах, мой друг, почему знать, может быть, ты спешишь сократить лучшее время в твоей жизни! Не правда ли? Ты согласен отсрочить нашу свадьбу?

– Я не стану обманывать тебя, Полина! – сказал Рославлев после короткого молчания. – Одна мысль, что я не прежде двух месяцев назову тебя моею, приводит меня в ужас. Чего не может случиться в два месяца?.. Но если ты желаешь этого, могу ли я не согласиться!

– Благодарю тебя, мой друг! О, будь уверен, любовь моя вознаградит тебя за эту жертву. Мы будем счастливы... да, мой друг! – повторила она сквозь слезы, – совершенно счастливы!

Вдруг позади их загремел громкой, отвратительный хохот. Полина вскрикнула; Рославлев также невольно вздрогнул и поглядел с беспокойством вокруг себя. Ему показалось, что в близком расстоянии продираются сквозь чащу деревьев; через несколько минут шорох стал отдаляться, раздался снова безумный хохот, и кто-то диким голосом запел: *со святыми упокой*.

– Это сумасшедшая Федора, – сказала Полина – Как чудно, – прибавила она, покачивая печально головою, – что в ту самую минуту, как я говорила о будущем нашем счастье...

– Зачем эту сумасшедшую пускают к вам в сад? – перервал Рославлев.

– Роща не огорожена; впрочем, эта несчастная не делает никому вреда.

– Но она может испугать, ее сумасшествие так ужасно!..

– Ах, она очень жалка! Пять лет тому назад она сошла с ума оттого, что жених ее умер накануне их свадьбы.

– Накануне свадьбы! – повторил вполголоса Рославлев. – Один день – и вечная разлука!.. А два месяца, мой друг!..

– Вот дядюшка и маменька, – перервала Полина, – пойдемте к ним навстречу.

– Ну что, страстные голубки, наговорились, что ль? – закричал Ижорской, подходя к ним вместе с своей сестрой и Ильменевым. – Что, Прохор Кондратьевич, ухмыляешься? Небось, любишься на жениха и невесту? То-то же! А что, чай, и ты в старину гулял этак по саду с твоей теперешней супругою?

– Что вы, батюшка! Ее родители были не нынешнего века – люди строгие, дай бог им царство небесное! Куда гулять по саду! Я до самой почти свадьбы и голоса-то ее не слышал. За день до венца она перемолвила со мной в окно два словечка... так что ж? Матушка ее подслушала да ну-ка ее с щеки на щеку – так разругала, что и боже упаси! Не тем помянута, куда крута была покойница!

– А где Федор Андреевич? – спросила Полина у своего дяди.

– Сурской? Уехал домой.

– Так Оленька одна? Я пойду к ней; а вы, – шепнула она Рославлеву, – оставайтесь здесь и погуляйте с дядюшкой.

Больная не заметила, что Полина вошла к ней в комнату. Облокотясь одной рукой на подушки, она сидела, задумавшись, на кровати; перед ней на небольшом столике стояла зажженная свеча, лежал до половины исписанный почтовый лист бумаги, сургуч и все, что нужно для письма.

– Ну что, как ты себя чувствуешь? – спросила Полина.

– Ах, это ты? – сказала Оленька. – Как ты меня испугала! Я думала, что ты гуляешь по саду с твоим женихом.

– Он остался там с дядюшкой.

– Но ему, верно, было бы приятнее гулять с тобою. Зачем ты ушла?

– К кому ты пишешь? – спросила Полина, не отвечая на вопрос своей сестры.

– В Москву, к кухне Еме. Она, верно, думает, что ты уже замужем.

– Может быть.

– Я не знаю, что мне написать о твоей свадьбе? Ведь, кажется, на будущей неделе?..

– Нет, мой друг!

– А когда же?

– Ты станешь бранить меня. Я уговорила Рославлева отложить свадьбу еще на два месяца.

– Как! – вскричала больная, – еще на два месяца?

– Сначала это его огорчило...

– А потом он согласился?

– Да, мой друг! он так меня любит!

– Слишком, Полина! Слишком! Ты не стоишь этого.

– Ну вот! я знала, что ты рассердишься.

– Можно ли до такой степени употреблять во зло власть, которую ты имеешь над этим добрым, милым Рославлевым! над этим... Чему ж ты смеешься?

– Знаешь ли, Оленька? Мне иногда кажется, что ты его любишь больше, чем я. Ты всегда говоришь о нем с таким восторгом!..

– А ты всегда говоришь глупости, – сказала Оленька с приметной досадою.

– То-то глупости! – продолжала Полина, погрозив ей пальцем. – Уж не влюблена ли ты в него? – смотри!

Оленька поглядела пристально на сестру свою; губы ее шевелились; казалось, она хотела улыбнуться, но вдруг вся бледность исчезла с лица ее, щеки запылали, и она, схватив с необыкновенною живостию руку Полины, сказала:

– Да, я люблю его как мужа сестры моей, как надежду, подпору всего нашего семейства, как родного моего брата! А тебя почти ненавижу за то, что ты забавляешься его отчаянием. Послушай, Полина! Если ты меня любишь, не откладывай свадьбы, прошу тебя, мой друг! Назначь ее на будущей неделе.

– Так скоро? Ах, нет! Я никак не решусь.

– Скажи мне откровенно: любишь ли ты его?

– Да! – отвечала вполголоса Полина.

– Так зачем же ты это делаешь? Для чего заставляешь жениха твоего думать, что ты своенравна, прихотлива, что ты забавляешься его досадою и огорчением? Подумай, мой друг! он не всегда останется женихом, и если муж не забудет о том, что сносил от тебя жених, если со временем он захочет так же, как ты, употреблять во зло власть свою...

– О, не беспокойся, мой друг! Ты не услышишь моих жалоб.

– Но разве тебе от этого будет легче? Нет, Полина! нет, мой друг! Ради бога не огорчай доброго Волдемара! Почему знать, может быть, будущее твое счастье... счастье всего нашего семейства зависит от этого.

Полина задумалась и после минутного молчания сказала тихим голосом:

– Но это уже решено, мой друг!

– Между тобой и женихом твоим. Не думаешь ли, что он будет досадовать, если ты пере-
менишь свое решение? Я, право, не узнаю тебя, Полина; ты с некоторого времени стала так
странна, так причудлива!.. Не упрямясь, мой друг! Подумай, как ты огорчишь этим маменьку,
как это неприятно будет Сурскому, как рассердится дядюшка...

– Боже мой, боже мой! – сказала Полина почти с отчаянием, – как я несчастлива! Вы
все хотите...

– Твоего благополучия, Полина!

– Моего благополучия!.. Но почему вы знаете... и время ли теперь думать о свадьбе? Ты
больна, мой друг...

– О, если ты желаешь, чтоб я выздоровела, то согласишься на мою просьбу. Я не буду здорова
до тех пор, пока не назову братом жениха твоего; я стану беспрестанно упрекать себя... да,
мой друг! я причиную, что ты еще не замужем. Если б я была осторожнее, то ничего бы не
случилось: вы были бы уже обвенчаны; а теперь... Боже мой, сколько перемен может быть в два
месяца!.. и если почему-нибудь ваша свадьба разойдется, то я вечно не прощу себе. Полина! –
продолжала Оленька, покрывая поцелуями ее руки, – согласишься на мою просьбу! Подумай,
что твоё упрямство может стоить мне жизни! Я не буду спокойна днем, не стану спать ночью;
я чувствую, что болезнь моя возвратится, что я не перенесу ее... согласишься, мой друг!

Полина молчала; все черты лица ее выражали нерешимость и сильную душевную борьбу.
Трепеща, как преступница, которая должна произнести свой собственный приговор, она
несколько раз готова была что-то сказать... и всякой раз слова замирали на устах ее.

– Так! я должна это сделать, – сказала она наконец решительным и твердым голосом, –
рано или поздно – все равно! – С безумной живостью несчастливца, который спешит одним
разом прекратить все свои страдания, она не сняла, а сорвала с шеи черную ленту, к которой
привешен был небольшой золотой медальон. Хотела раскрыть его, но руки ее дрожали. Вдруг
с судорожным движением она прижала его к груди своей, и слезы ручьем потекли из ее глаз.

– Что это значит?... Что с тобой?... – вскричала Оленька.

– Ничего, мой друг! ничего! – отвечала, всхлипывая, Полина, – успокойся, это последние
слезы. Ах, мой друг! он исчез! этот очаровательный... нет, нет! этот тяжелой, мучительной сон!
Теперь ты можешь сама назначить день моей свадьбы.

Полина раскрыла медальон и вынула из него нарисованное на бумаге грудное изображе-
ние молодого человека; но прежде, чем она успела сжечь на свече этот портрет, Оленька бро-
сила на него быстрый взгляд и вскричала с ужасом:

– Возможно ли?..

– Да, мой друг!

– Как! ты любишь?..

– Молчи, ради бога не называй его!

– И я не знала этого!

– Прости меня! – сказала Полина, бросившись на шею к сестре своей. – Я не должна была
скрывать от тебя... Безумная!.. я думала, что эта тайна умрет вместе со мною... что никто в
целом мире... Ах, Оленька! я боялась даже тебя!..

– Но скажи мне?..

– После, мой друг! после. Дай мне привыкнуть к мысли, что это был бред, сумасшествие,
что я видела его во сне. Ты узнаешь все, все, мой друг! Но если его образ никогда не изгладится
из моей памяти, если он, как неумолимая судьба, станет между мной и моим мужем?... о! тогда
молись вместе со мною, молись, чтоб я скорей переселилась туда, где сердце умеет только
любить и где любовь не может быть преступлением!

Полина склонила голову на грудь больной, и слезы ее смешались с слезами доброй
Оленьки, которая, обнимая сестру свою, повторяла:

– Да, да, мой друг! это был один сон! Забудь о нем, и ты будешь счастлива!

Часть вторая

Глава I

Двухэтажный дом Николая Степановича Ижорского, построенный по его плану, стоял на возвышенном месте, в конце обширного села, которое отделялось от деревни сестры его, Лидиной, небольшим лугом и узенькой речкою. Испещренный всеми возможными цветами китайской мостик, перегибаясь чрез речку, упирался в круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла от ворот башни до самого дома. Трудно было бы решить, к какому ордену архитектуры принадлежало это чудное здание: все роды, древние и новейшие, были в нем перемешаны, как языки при вавилонском столпотворении, Низенькие и толстые колонны, похожие на египетские, поддерживали греческой фронтоны; четырехугольные готические башни, прилепленные ко всем углам дома, прорезаны были широкими итальянскими окнами; а из середины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорской называл своим бельведером. С одной стороны примыкал к дому обширный сад с оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, в которые накачивали воду из двух колодцев, замаскированных деревьями. Внутренность дома не уступала в разнообразии наружности; но всего любопытнее был кабинет хозяина и его собрание редкостей. Вместе с золотыми, вышедшими из моды табакерками лежали резные берестовые тавлинки; подле серебряных старинных кубков стояли глиняные размалеванные горшки – под именем этрусских ваз; образчики всех руд, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядом; подле чучел белого медведя и пеликана стояли чучелы обыкновенного кота и легавой собаки; за стеклом хранились челюсть слона, мамонтовые кости и лошадиное ребро, которое Ижорской называл человеческим и доказывал им справедливость мнения, что земля была некогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина; все стены были завешаны панцирями, бердышами, копьями и ружьями; а по выдававшемуся вперед карнизу расставлены рядышком чучелы: куликов, петухов, куропаток, галок, грачей и прочих весьма обыкновенных птиц. Глядя на эту коллекцию безвинных жертв, хозяин часто восклицал с гордостью: «Кому другому, а мне Бюффон не надобен. Вот он в лицах!»

Спустя два дня после описанного нами разговора двух сестер, часу в десятом утра, в доме Ижорского шла большая суматоха. Дворецкой бегал из комнаты в комнату, шумел, бранился и щедрой рукой раздавал тузы лакеям и дворовым женщинам, которые подметали пыль, натирали полы и мыли стекла во всем доме. Сам барин, в пунцовом атласном шлафроке⁴¹, смотрел из окна своего кабинета, как целая барщина занималась уборкой сада. Везде усыпали дорожки, подстригали деревья, фонтаны били колодезною водою; одним словом, все доказывало, что хозяин ожидает к себе необыкновенного гостя. Несколько уже минут он морщился, смотря на работающих.

– Ну так и есть! – сказал он, наконец, с досадою, – я не вижу и половины мужиков! Эй, Трошка! беги скорей в сад, посмотри: всю ли барщину выгнали на работу?

Слуга, спеша исполнить данное ему приказание, бросился опростометью вон из дверей и чуть не сшиб с ног Сурского и Рославлева, которые входили в кабинет.

– А, любезные! милости просим! – закричал Ижорской. – Кстати пожаловали: вы мне пособите! Ум хорошо, а два лучше!

– Да что у тебя такое сегодня? – спросил Сурской.

– Как что? Я получил записку из города: сегодня обедает у меня губернатор.

⁴¹ халате (нем.)

- Вот что! Да ведь ты хотел принять его запросто?
- Эх, милый! ну, конечно, запросто; а угостить все-таки надобно. Ведь я не кто другой – не Ильменев же в самом деле! Ну что, Трошка?! – спросил он входящего слугу.
- Староста, сударь, выгнал в сад только половину барщины.
- Ах он мерзавец! Да как он смел? Вот я его проучу! Давай его сюда!.. Эка бестия! все умничает! Уж и на прошлой неделе он мне насолил; да счастлив, разбойник!.. Погода была так сыра, что электрическая машина вовсе не действовала.
- Электрическая машина! – повторил с удивлением Сурской.
- Да, братец! Я бить не люблю, и в наш век какой порядочной человек станет драться? У меня вот как провинился кто-нибудь – на машину! Завалил ему ударов пять, шесть, так впредь и будет умнее; оно и памятно и здорово. Чему ж ты смеешься, Сурской? конечно, здорово. Когда еще у меня не было больных и домашнего лекаря, так я от всех болезней лечил машиною.
- Смотри пожалуй!.. И, верно, многих вылечивал?
- Случалось, братец! Да вот, например, года два тому назад привели ко мне однажды Антона-скотника; взглянуть было жалко! Ревматизм, что ль, подагра ли – право, не знаю; только вовсе обезножил. Вот я навертел, навертел!.. время было сухое – машина так и трещит! Велел ему взяться за цепочку, благословился, да как щелк!.. Гляжу, мужик мой закачался. Я еще... он и с ног долой, Глядь-поглядь – ахти худо! язык отнялся, глаза закатились; ну умер, да и только! Другой бы испугался, а я так нет. Благодарю моего создателя – не сробел! Ну-ка его лежачего удар за ударом. Что ж, сударь? Очнулся! Да как вскочит, батюшка!.. Господи боже мой! откуда ноги взялись.
- Как! побежал?
- Да так, сударь, что и догнать не могли.
- Подлинно диковинка! – сказал Сурской. – И он совсем выздоровел?
- Как же, братец! Как рукой сняло! И теперь еще здоровехонек... А, голубчик! – закричал Ижорской, увидя входящего старосту. – Поди-ка сюда! Так-то ты выполняешь мои приказания? Отчего не вся барщина в саду?
- Виноват, батюшка! – отвечал староста, отвесив низкой поклон. – Я другую половину барщины выслал на вашу же господскую работу.
- На какую работу?
- На сенокос, батюшка!
- На сенокос!.. Нашел время косить, скотина! Ну вот, братец! – продолжал хозяин, обращаясь к Сурскому, – толкуй с этим народом! Ты думаешь о деле, а он косить. Сейчас выслать всю барщину в сад. Слышишь?
- Слушаю, батюшка! Только, воля ваша, если мы едак день за день...
- Прошу покорно!.. Ах ты, дуралей! Что ты, учить, что ль, меня вздумал?..
- Да не сердись на него, – перервал Сурской, – ведь он заботится о твоей же пользе.
- Не его дело рассуждать, в чем моя польза. Ну, что стоишь? Пошел!
- Староста, поклонясь в пояс, вышел из комнаты.
- Да что ж, я не дождусь лекаря? – продолжал Ижорской. – Трошка! ступай скажи ему, что я его два часа уж дожидаюсь... А вот и он... Помилуй, батюшка, Сергей Иванович! Тебя не дозовешься.
- Извините! – сказал лекарь, поклонясь Сурскому и Рославлеву, – я позамешкался: осматривал больницу.
- Я за этим-то тебя и спрашивал. Ну что, все ли в порядке?
- Кажется, все.
- Ну, то-то же! О моей больнице много толков было в губернии. Смотри, чтоб нам при его превосходительстве себя лицом в грязь не ударить. Все ли расставлено в порядок и пробрано в аптеке?

- Точно так же, как и всегда, Николай Степанович!
- Как и всегда! Ну, так и есть – я знал! Эх, братец! Ведь я тебе толком говорил: сегодня будет губернатор, так надобно... ну знаешь, любезный!.. товар лицом показать.
- Я вам докладываю, что все в порядке.
- А в больнице? – Окна и полы вымыты, белье чистое...
- А прибиты ли дощечки с надписями ко всем отделениям?
- Хоть это бы и не нужно: у нас больница всего на десять кроватей; но так как вам это угодно, то я прибил местах в трех надписи.
- На латинском языке?
- На латинском и русском.
- Хорошо, братец, хорошо! А сколько у нас больных?
- Теперь ни одного.
- Как ни одного? – вскричал с ужасом Ижорской.
- Да, сударь! Третьего дня я выписал последнего больного – Илюшку-кучера.
- Зачем?
- Он выздоровел.
- Да кто тебе сказал, что он выздоровел? с чего ты взял?.. Возможно ли – ни одного больного! Ну вот, господа, заводи больницы!.. ни одного больного!
- Так что ж, мой друг? – сказал Сурской.
- Как что ж? Да слышишь: ни одного больного! Что ж, я буду комнаты одни показывать? Ну, батюшка, Сергей Иванович! дай бог вам здоровья, потешили меня... ни одного больного!
- Помилуйте! что ж мне делать?
- Что делать? А позвольте вас спросить: за что я плачу вам жалованье? Вы получаете тысячу рублей в год, квартиру, стол, экипаж – и ни одного больного! Что это за порядок? На что это походит? Эх! правду говорит сестра: вот вам и русской доктор – ни одного больного! Ах, боже мой! Боже мой! Ну, батюшка, спасибо вам – поднесли мне красное яичко, – ни одного больного! Да, конечно, господин русской доктор, конечно! Во что б ни стало заведу немца... да, сударь, немца! У него будут больные! Господи боже мой! ни одного больного!.. Смейтесь, господа, смейтесь. Вам что за горе! Не вы станете показывать больницу губернатору.
- А что, Рославлев, – сказал шутя Сурской, – не выкупить ли нам его из беды? Прикинемся-ка больными!
- Эх, братец, что за шутки!
- Какие шутки? Ведь губернатор не станет больных осматривать, только бы постели-то не были пусты.
- А что ты думаешь, любезный! Постой-ка... в самом деле!.. Эй, Трошка! Дворецкого, проворней!
- Что вы хотите делать? – спросил Рославлев.
- Постой, братец, постой!.. авось как-нибудь... Что в самом деле? Не велика фигура полежать денек.
- Как?.. вы хотите?..
- Эх, братец, не мешай! Добро, так и быть! ступай домой, Сергей Иванович; да смотри, чтоб вперед этого не было. Теперь у нас будут и без тебя больные. Слушай, Парфен! – продолжал Ижорской, идя навстречу к дворецкому, – у нас теперь в больнице нет никого больных...
- Да, сударь, слава богу!
- Врешь, дурак! осел! слава богу!.. Что, я губернатору-то пустые стены стану показывать? Мне надобно больных – слышишь?
- Слушаю, сударь! Да где ж я их возьму?
- И знать не хочу – чтоб были!
- Слушаю, сударь!

- Да постой-ка, Парфен! Ты что-то больно изменился в лице, – уж здоров ли ты?
- Слава богу-с!
- То-то, смотри, запускать не надобно; видишь, как у тебя глаза ввалились. Эх, Парфен! ты точно разнемогаешься. Не полечиться ли, брат?
- Нет уж, батюшка, Николай Степанович, помилуйте! Авось в дворне и без меня найдутся хворые.
- Да как не быть. Ступай же проворнее.
- А на всякой случай, что прикажете, если охотников не найдется?
- Ну, что тут спрашивать, дурачина! Вышел на улицу, да и хватай первого, кто попадется: в больницу, да и все тут! Что в самом деле, барин я или нет?
- Слушаю, сударь! Да не прикажете ли лучше нарядить с семьи по брату?
- И то дело! Смотри, отбери тех, которые пощедушнее. Правда, в отделение водяной болезни надобно кого-нибудь потолще да подюжее!..
- Позвольте! Я уговорю нашего пономаря: ведь он распретолстый-толстый; а рожа-то так и расплылась.
- В самом деле, уговори его, братец.
- Дать ему рубли полтора, так он целые сутки пролежит как убитый.
- Брось ему целковый. Да нет ли у тебя на примете кого-нибудь этак похуже, чтоб, знаешь, годился для чахотного отделения?
- Похуже?.. Пойдите-ка, сударь! Да чего ж лучше? Сапожник Андрюшка. Сухарь! Уж худощавее его не найдешь во всем селе: одни кости да кожа.
- Точно, точно! Ай да Парфен! спасибо, брат! Ну, ступай же поскорей. Двое больных есть, а остальных подберешь. Да строго накажи им, как придут осматривать больницу, чтоб все лежали смирно.
- Слушаю, сударь!
- Не шевелились, колпаков не снимали и погромче охали.
- Слушаю, сударь!
- Ну, ступай! Ты смеешься, Сурской. Я и сам знаю, что смешно: да что ж делать? Ведь надобно ж чем-нибудь похвастаться. У соседа Буркина конный завод не хуже моего; у княгини Зориной оранжереи больше моих; а есть ли у кого больница? Ну-тка, приятель, скажи? К тому ж это и в моде... нет, не в моде...
- Вы хотите сказать: в духе времени, – перервал Рославлев.
- Да, в духе времени. Это уж, братец, не экономическое заведение, а как бишь, постой...
- Человеколюбивое, – сказал Сурской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.